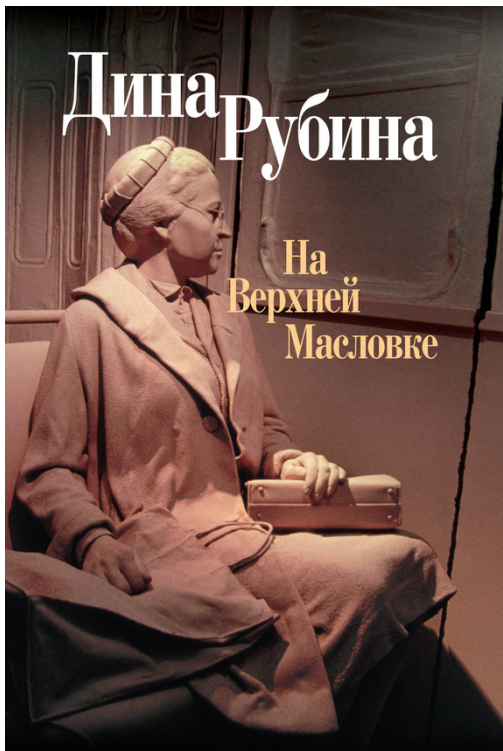




Дина Ильинична Рубина

На Верхней Масловке (сборник)

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=164459
На Верхней Масловке: Эксмо; М.: 2007
ISBN 978-5-69-22209-4, 978-5-699-25947-2

Аннотация

«Вот вы говорите – идеальная любовь...

Для меня идеальная любовь – это сильное духовное потрясение. Независимо от того, удачно или неудачно она протекает и чем заканчивается. Я полагаю, что чувство любви всегда одиноко. Даже если это чувство разделено. Ведь и человек в любых обстоятельствах страшно одинок. С любым чувством он вступает в схватку один на один. И никогда не побеждает. Никогда. Собственно, в этом заключен механизм бессмертия искусства.»

Д. Рубина

Содержание

На Верхней Масловке	5
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Дина Рубина На Верхней Масловке (сборник)

Дорогой читатель Андрей!
Меню от всех друзей –
радости, дружбы, любви!



На Верхней Масловке

Его вельветовые брюки имели все еще очень приличный вид. За брюки он был спокоен. В присутственных местах можно непринужденно вытягивать ноги или класть одну на другую, слегка покачивая верхней. Впрочем, тогда видны мокасины, а их биография насчитывает выслугу лет куда более почтенную.

В присутственных местах, пожалуй, разумнее всего убирать ноги под кресло, тогда колени, обтянутые приличными брюками, на виду, а мокасины не мозолят глаза секретаршам, от которых, увы, так часто зависит многое.

Вот она, голубушка, вышла из кабинета. Пригласит к шефу? Или?..

Он приподнялся в кресле, стараясь, чтобы выражение лица не казалось напряженным и ожидающим. Нет-нет, все легко и непринужденно. Ничего особенного не происходит. Просто человек с высшим образованием, с красным (на всякий случай) дипломом всего только полжизни не может устроиться на работу. И так – что же на этот раз?

Секретарша очень славная, надо отметить. Милое, чуть огорченное лицо. Ну-ну, девочка, не стоит из-за меня огорчаться, дело житейское. И так?!

– Петр Авдеевич, к сожалению, у нас все еще неясность в этом вопросе. Елена Ивановна ушла в декрет, но, как выяснилось, Инга Семеновна на будущей неделе как раз из декрета выходит... Ну и... вы понимаете...

– Понимаю, – подхватил он с улыбкой, с мерзейшей легкой улыбкой, выработанной его лицевыми мышцами в течение этих месяцев. – У вас налажено собственное производство новорожденных завлитов.

Она расхохоталась. Нет, она милая, ей-богу. Были бы деньги, пригласил бы ее... ну хоть в театральный буфет.

...Неужели все-таки придется вступить в эту унижительную, смехотворно мелкую игру: красиво сунуть секретарше коробку конфет, «уютно посидеть» с тем и этим инструктором министерства, появляться, крутиться, мелькать, внедряться «в круги», держа при этом в голове, кто в какую группировку входит, чтобы не ляпнуть, не дай бог, чего-нибудь или не столкнуть двух борзых из разных свор... Титаническая работа мозга и нервов, по плечу разве что разведчику из телевизионного шедевра.

Он приложился к мягкой выхоленной ручке, молча поклонился. И все это – чтобы ступить, наконец, на нижнюю ступень эскалатора, медленно ползущего вверх, на самую нижнюю, затоптанную, с ошметками сохлой грязи, ступеньку, – ах, потеснитесь же, дайте хоть левой ногой нащупать твердь, я повишу, я без претензий...

Врешь, братец, ты с ба-а-льшими претензиями... Прочь!

– Вы все-таки позванивайте, Петя, – секретарша понизила голос и многозначительно метнула глазками в сторону кабинета. – Вдруг что-нибудь да изменится... Вообще-то мы в вас заинтересованы.

Присвистывая и кивая знакомым физиономиям, он спустился по угнетающе величественной лестнице в служебный гардероб...

Много народу. Народу, говорю, слишком много в этом городе, в этой области искусства, какую вы, драгоценный Петр Авдееч, выбрали для приложения своего таланта, в существовании которого, кстати, так странно, так незыблемо уверены... Ну, довольно шута перед собою ломать. И что за милая привычка тихого сумасшедшего появилась у тебя в последнее время – беседовать с самим собою? Иди, дурак, и делай что должно, а то на пенсию тебя проводит незабвенная швейная фабрика и драмкружок, которым без малого три столетия ты руководишь...

Хорошо, что швейцар здесь не имеет привычки услужливо разворачивать перед тобой твой же старый плащ штопаной подкладкой наружу... Елена Ивановна в декрет, Инга Семеновна из декрета... Развели бабья кругом, бабье заправляет в искусстве...

...Он навалился грудью на тяжкую, как чугунная плита, дверь служебного подъезда, с вертикально привинченной табличкой «От себя», вышел на улицу и достал из кармана плаща мятую кепочку – ветер трепал над головою мелкий дождик.

Старуха, конечно, ничего толком не поймет, но не откажет себе в удовольствии покуражиться, особенно если вечером в мастерскую кого-нибудь черт принесет. В ее девяностопятилетней памяти перетасованы времена и нравы, ей кажется, что она по-прежнему профессор ВХУТЕМАСа и стоит только позвонить Фаворскому или Левушке Бруни, как с Петей все моментально устроится. Маразма у старухи нет, этого и злейший враг не посмеет сказать, но бестолковость – сверхъестественная...

По поводу врагов: все они благополучно померли в прошлых веках, старуха победоносно их пережила и похерила, ныне ее окружают сплошь любимые друзья. Враг, притом злейший, остался только один: Петя...

Из-за фонаря выскочил бездомный сирота Шарик, которого здесь изредка и скудно подкармливали, пристроился сзади на почтительный шаг и потрусил с Петей через дорогу к остановке. Перед прохожими прикидывался, да и перед собою тоже: вот, мол, и у меня хозяин есть.

Они перешли дорогу. Под навесом остановки Шарик топтался рядом, крутил хвостом и скромно поглядывал вверх. Не навязывался, нет. Петя наклонился и почесал его мокрую спину. Шарик заныл от счастья.

– Ты чего такой худой? – спросил его Петя строго.

Шарик заплакал. И видно, что не из расчета, а так, растрогался.

– Дружище, взял бы, ей-богу, взял, я в тебе заинтересован, – сказал Петя громко, возложив по-оперному руки на грудь. – Но сам понимаешь: Елена Ивановна – в декрет, Инга Семеновна – из декрета...

Девушка в долгополом, очень модном пальто, сидевшем на ней как тулуп на ямщике, бочком отошла подальше. Это рассмешило.

– Взял бы, – продолжал Петя громко и душевно, – да старуха выгонит обоих... Два приبلудных пса – даже для нее многовато... А ты приходи в драмкружок швейной фабрики, я дам тебе роль волкодава...

Оттого что с ним говорили так громко и ласково, сирота Шарик совсем размяк, он расстился у Петиных ног, молотил хвостом по асфальту и закатывал глаза – то есть, по всему, находился на вершине блаженства.

– А что, швейная фабрика – это идея, – пробормотал Петя, опускаясь на корточки и бесцеремонно трепля разомлевшего пса. – А? Давай, друг, я уведу тебя из зланных мест в места трудовой славы, например к вахтеру Симкину... Довольно быть прихлебателем у искусства, пора начать здоровую трудовую жизнь... Ну пойдем, здесь не очень далеко. Давай, восстань из праха... Прекрати, говорю, валяться, как слабоумный. Пойдем!

И они пошли в сторону переулка, дружески беседуя. Последнее, что расслышала девушка в ямщицком тулупе, было:

– ...И перед смертью утешусь мыслью, что устроил судьбу одной хорошей собаки.

* * *

Не заглядывая к старухе, он поднялся в свою каморку, снял, бросил на кресло плащ, что случалось с ним очень редко даже в последние проклятые месяцы, и повалился на топчан.

Снизу, из мастерской, доносились голоса. Старуха бубнила басом – что-то рассказывала, она любит поговорить на тему «В мое время», хотя все времена считает своими. Несколько раз взрывался молодой и сильный смех женщины. Красивый, низкий и свободный смех. Кокетки и глупенькие так не смеются. Нужно быть достаточно привлекательной, чтобы позволить себе подобную роскошь.

Ах да, утром старуха раз двадцать говорила, что Матвей начинает, наконец, писать ее портрет. Она помешалась на этом будущем портрете, как помешалась и на Матвее. Не будем мелочны – старуха вообще помешана. По этому поводу нельзя даже сказать, что она сошла с ума, потому что такой она и родилась на свет. И дело тут не в легендарных девятистах пяти годах. Пятнадцать лет назад, когда робким провинциальным мальчиком он был приведен кем-то из друзей в мастерскую на Верхней Масловке, с привычками и характером у могучей старухи дело обстояло примерно так же. С характером особенно. Впрочем, тогда его здесь все восхищало: эти неженские, мощные, в глине лапы с закатанными по локоть рукавами, эта агрессивная независимость и мгновенная реакция в любом разговоре с любым собеседником. Нужно было пятнадцать лет потереться об этот характер, чтобы, став неврастеником, понять наконец, откуда что взялось...

Так, значит, Матвей начал портрет. Вероятно, пришел он не один, а с новой женой. Первая не выдержала вдохновенного сожительства с гением и улизнула к нормальному человеку, не то шоферу, не то слесарю. Правда, черты ее не будут увековечены в «портретах жены художника», но зато в доме у нее теперь, надо полагать, чисто, покойно и не воняет скипидаром... Вторая, если она не дура, поступит так же.

Сойти, что ли, вниз, посмотреть на новую жену Матвея? Судя по смеху, это должна быть штучка.

Он поднялся, натянул старый домашний джемпер и, чувствуя зябкую сырость, пощупал батарею парового отопления.

Сволочь Костя! Только позавчера содрал с них едва ли не последнюю трешку, и пожалуйста – сегодня батареи опять едва теплятся. Он решил наорать наконец на подонка Костю, личного, как говорила старуха, слесаря. Хронический бездельник Костя приходился мужем Розе, которая иногда стряпала им, надо отдать ей должное, довольно вкусно, но слишком дорого. Роза безусловно их обкрадывала, и, черт возьми, правильно делала. Надо быть святой или безмозглой идиоткой, чтобы не почуять, как легко старуху обворовать, и не воспользоваться этим. И к чему, к чему в их жизни, ко всем остальным сложностям, нужна бесстыжая Роза?! Это все то же полное нежелание старухи осмыслить действительность и хоть как-то приспособиться к ней. Ну как же – она никогда и ни к чему не приспособливалась! Как же, как же – домработницу иметь необходимо, чтобы целиком отдавать себя творчеству.

Она получает большую пенсию. Скажем так, самую большую, какую можно у нас получать. Но проследить, куда и когда испаряются эти деньги, совершенно невозможно – большая часть уходит на подачки даровитым алкоголикам из соседних мастерских, на праведное дело опохмела. Бывает, и крупные суммы приваливают, когда музей покупает какую-нибудь старую работу, но и это все течет сквозь пальцы, выбрасывается на ветер, раздается; наконец, просто исчезает. Буквально: лежала в конфетнице пятерка, заглянула Роза на минутку – и остался в конфетнице пшик с карамелькой... Нынче уж совсем туго. Размах у старухи прежний, а денег нет. Вот уже два месяца нет Петиной скромной зарплаты, а на нее, бывало, кормились, когда старухина пенсия исчезала вдруг за два дня.

Он спустился по деревянной лестнице в холодную, с цементным полом прихожую, мельком оглядел брикеты скульптурного пластилина на стеллажах, мешки с глиной и гипсом по углам, – слава Богу, Роза хоть на это не зарится.

За обшарпанной дверью мастерской бasila старуха:

– ...И вот что, Матвей, милый, расстелите-ка под этюдником газету и использованные тряпки бросайте на нее. А то сейчас явится сумасшедший Петька, и нам с вами влетит.

Ну да, сумасшедший Петька, пугало Петька, ничтожество Петька. Добавьте еще – нахлебник Петька, бессовестный тунеядец, сидящий на шее у старухи!

Он не стал заходить в мастерскую, прошел по коридору в уборную, где батареи совсем не топились. Конкретная ненависть к негодяю Косте затмевала сейчас даже постоянное глухое раздражение.

Заходить в мастерскую не хотелось потому еще, что он вспомнил: сегодня старуха собиралась занять у Матвея денег. Он ухмыльнулся мысленно: интересно, как великий Матвей чувствует себя при солидном бумажнике. Бессребреник Матвей, нищий Матвей... Да, старухе никогда прежде не пришлось бы в голову одалживаться у него, все знали, что художник живет на копейки. Кажется, он вел где-то студию за какие-то восемьдесят рублей. А что такое восемьдесят рэ при нынешних ценах на холст, краски, кисти? Учítывая, что Матвей работал как вол, можно представить – что из этих восьмидесяти оставалось ему на жизнь. До недавнего времени старуха сама невзначай подкармливала его, подкармливала буквально – бутербродами, кашей какой-нибудь, потому что денег Матвей не брал никогда.

Ну а теперь времена переменялись. Матвей женился. Говорят, супруга – переводчица то ли с испанского, то ли с португальского и гребет приличные гонорары. Во всяком случае, в последний раз Матвей явился в дубленке, в которой, похоже, не очень свободно себя чувствовал. Хм... интересно, как в таких семьях распределяются отношения?

Перед дверью мастерской в сумраке прихожей изогнулась, заломив руки в неге утреннего пробуждения, обнаженная гипсовая Нора. Когда к старухе являлось много народу, на Нору вешали шарфы и шляпы. Тогда она переставала быть пышущей здоровьем колхозницей и становилась похожей на девку из непристойного варьете. Увы, сама Нора – безотказная натурщица всех скульпторов с Верхней Масловки – умерла лет десять назад. Впрочем, это отдельная, щемяще-грустная история...

Он поймал себя на том, что снова стоит перед дверью мастерской, прислушиваясь к голосам – ворчливому басу старухи и резковатому, притягательно молодому голосу женщины:

– Отчего вам и в самом деле не писать воспоминаний?

– Оттого, что я ненавижу этот жанр, эти сплетни о великих, обязательно с подробностями, вроде с кем он в то время жил и чем болел, словно все это имеет к искусству какое-то отношение... Когда они попросили меня написать воспоминания о Модильяни, я послала их к черту. Что я могла написать: что в начале войны мы жили в одном дворе на Монпарнасе и иногда ходили вместе обедать в соседний ресторанчик? Что он был молчалив и кололся кокаином? Что однажды он сказал мне: «У вас независимая походка» – на что я ответила: «С чего бы ей быть зависимой, если каждый месяц мне присылают двести франков?..»

Женщина расхохоталась, звонко, весело. Он толкнул дверь и вошел.

– Полундра, – сказала старуха, – Петька явился. Сейчас браниться начнет.

Она сидела в кресле, напряженно стараясь не двигаться – позировала. Напротив и чуть сбоку сидел за этюдником Матвей, хмурый, как всегда, когда работал. Он поднял голову, кивнул и снова уткнулся в палитру, переводя жесткий взгляд с холста на модель.

На Матвея всегда хотелось долго смотреть – он завораживал своей отрешенностью. Не было в нем взбаламученности, суетливости этой, когда каждым словом что-то кому-то доказывают. Похоже, он истово верил в свое предназначение и нес в себе талант с осторожным достоинством, оберегая его от разрушений, которые часто наносит жизнь. Просто жизнь как она есть...

По мастерской разгуливала молодая женщина.

Ай-яй-яй, вот вам и супруга – не знает, что Матвей терпеть не может, когда во время работы кто-то слоняется за спиной. Вот вам и распределение отношений внутри семьи.

На обшарпанном, без скатерти круглом столе лежали в плетенке дорогие конфеты и печенье, стояли масленка, тарелка с нарезанным хлебом. Неужели старуха успела занять денег? Когда? И кто успел сбегать в магазин? Не Матвей же – его нельзя обременять мирскими заботами.

– Петя, глянь, какую модель отхватил себе Матвей, – сказала старуха. – Простите, милая, опять забыла ваше имя...

– Нина, – невозмутимо ответила женщина. – А впрочем, зовите как вам удобно.

Отлично. Вполне в духе могучей старухи – двадцать раз переспрашивать имя. Такое может вынести не каждый человек.

– Я слышал, не только модель, – он любезно скривил губы, – но и жену.

– Ну, это – так, заодно, – быстро ответила она, не глядя на Петю. – Между прочим...

У нее хорошая реакция, и, кажется, она не глупа, если не надулась на старуху за бестактность... Можно ли назвать ее красивой? Пожалуй, да, хотя ему нравятся женщины другого типа. У этой слишком подвижное лицо, слишком энергичная мимика. И глаза очень живые и очень трезвые. Для женщины – слишком трезвые. Неги – вот чего ей недостает...

– Нина очень черная, ты не находишь, Петя?

«Старая дура, вот ты кто».

– Это называется – брюнетка, Анна Борисовна, – сухо ответил он.

– Да, слишком черная. Но для живописи это хорошо, – добавила старуха.

Матвей поднял голову и улыбнулся жене.

– У меня цыгане в роду, – спокойно пояснила Нина.

– А, понятно, почему вы так красиво, так самозабвенно курите... Но цыганки прежде курили трубку. Вы попробуйте, получится оригинально... А я никогда не была ханжой. Я и пила бы, и курила, но у меня всю жизнь было слабое сердце.

– Со слабым сердцем до вашего возраста не доживают, – заметил Петя едко.

Нина ходила вдоль стеллажей, уставленных скульптурами.

– Это Паустовский? – спрашивала она. – Верно? – И удовлетворенно кивала. – А это Брюсов. Да? Он позировал вам? В каком году?

– А черт его знает, не помню, – отвечала старуха, не поворачивая головы.

– Паустовский – в пятьдесят девятом, Брюсов – в двадцать первом, – сказал Петя.

Он ненавидел, когда старуха прикидывалась, будто ей все равно, что думают о ее работах. Впрочем, он несправедлив: старуха никогда не прикидывается ни перед кем. Она естественна в любых обстоятельствах. Просто сейчас она поглощена таинством сотворения портрета. Она позирует великому Матвею.

– Черт! – пробормотал Матвей, хмурясь. – Темно... На сегодня – все, Анна Борисовна. – Он помедлил, положил на холст еще два мазка и, яростно оторвав кусок газеты, принялся скрести мастихином палитру.

Нина остановилась за его спиной и долго глядела в холст.

– Плохо, плохо... И эта кофта ядовито-зеленая! – добавил Матвей. – Анна Борисовна, неужели другой нет?

– Нет, милый. Вы же знаете, я – женщина-урод, никогда не интересовалась тряпками. Это, разумеется, патология. Нина, вы интересуетесь тряпками?

– Конечно!

– Ну а я всю жизнь была уродом. В Париж приехала в старой юбке, вывезенной из Ростова.

Вообще одета была, по всей видимости, ужасно. Носила я тогда две косы, а со лба свисала длинная прядь. Когда по утрам шла в студию – лепить, то рабочие на Монпарнасе

часто хватали меня за эту прядь и весело предлагали: идем со мной спать. Представляете, на кого я была похожа!..

– В каком году это было? – живо спросила Нина.

– Это было... Вы будете смеяться – это было в четырнадцатом году... Матвей, ну покажите же портрет!

– Да там еще смотреть не на что, Анна Борисовна! – Он действительно был недоволен портретом. Матвей, как и старуха, никогда не прикидывался. Он неохотно снял портрет с этюдника и поставил на пол, к столу, против окна. И отошел опять – чистить палитру. Старуха нащупала палку, тяжело поднялась с кресла и, доковыляв до раскладушки, опустилась на нее, шумно дыша. Минут пять она молча разглядывала подмалевок.

– Смотрите-ка, это рыло еще что-то о себе воображает, – бормотала она, всматриваясь в свое лицо на портрете. – Да... рука Матвея уже видна... Нина, вы знаете, что Матвей – гений?

– Других не держим, – ответила та невозмутимо.

– Анна Борисовна, я же просил! – поморщился Матвей.

Он не кокетничал. Кажется, этими вечными провозглашениями Матвеевой гениальности старуха осточертела ему.

– Да, гений, – твердо продолжала старуха, не обращая внимания на его гримасу. – Художник масштаба эпохи Возрождения.

Матвей вдруг засмеялся невесело и выбил короткую чечетку на гулком цементном полу мастерской.

– Ладно, – сказал он, – не выпить ли чаю по этому поводу?

– Петька, поставь чайник! – велела старуха. Ну конечно: Петька чайник поставь, Петька сбегай в магазин, Петька прислужи высоким гостям – гению с супругой.

– Давайте я похозяйничаю, – просто сказала Нина. Быстро набрала в огромный, тускло-жестяной чайник воды, поставила на плитку.

– Матвей, что вы думаете о живописи Руо? – Анна Борисовна взяла со стула, заваленного альбомами, папками, книгами, толстый альбом «Руо». – Идите сядьте рядом. Прежде чем мы встретимся с вами в иных мирах, мне бы еще хотелось понять что-то в живописи.

Матвей присел к ней на раскладушку, и они уткнулись в репродукции.

Нет, полюбуйтеся – ей важно услышать мнение Матвея о живописи Руо. Вот уже полчаса, как Петя вернулся, а она даже не поинтересовалась, чем решился вопрос. Он два месяца ищет работу, он совершенно отчаялся, а ее – нет, ей-богу! – интересует живопись Руо. И этот гений хренов тоже: чихать ему на жену; она, бедняга, томится и наверняка не чает уже сбежать отсюда, – влез по уши в свои заумные рассуждения и никого не видит, не слышит. Да, этим двоим никто не нужен, никто.

– ...Я думаю, на Руо оказали влияние и витражи Шартра, и романские примитивы. И в этом смысле его интересно сопоставить...

– Чайник вскипел! – громко объявила Нина.

...За чаем старуха опять рассказывала о Париже. Признаться, он любил, когда у старухи развязывался язык. Конечно, он в сотый раз слушал все это, но надо отдать ей должное – рассказывала старуха каждый раз внове, просто и небрежно, так же как вспоминала Ростов своего детства и Нахичевань, куда ездила из Ростова на конке. Он следил за ее рассказами ревниво, спешил вставить детали, которые она опускала. При этом машинально делал бутерброды и раздраженно подкладывал их в ее тарелку.

– Однажды лепила в студии обнаженную, – к нам ходила позировать Манон, роскошная баба из номеров, красная, распаренная любовью, как прачка паром, очень монументальная, да... Она потом убила кофейником одного гарсона из кафе напротив, за измену. Впрочем,

его нетрудно было убить, мне кажется, достаточно было Манон прижать его к стенке своим бюстом, да... ну, это другая история – о чем я?

– Вы стояли, работали, – громко напомнил Петя, – вдруг заходит...

– Вдруг вбегает молодой человек, вертлявый, тощий, очень подозрительного вида.

Метнулся ко мне и говорит: «Вы не могли бы дать мне восемьдесят франков?»

– Это был Цадкин, – поспешил вставить Петя.

– Это был Цадкин... Я так оторопела, что дала четыре франка... Да, деньжата у меня водились, мне присылали родители... И в Париже можно было недорого прожить. Мы, художники и скульпторы из России, обедали в ресторанчике, который держала на Монпарнасе русская эмигрантка. За один франк там давали несколько блюд. Эмигрантка... Забыла ее имя и лицо смутно представляю, но вот сына ее помню отлично. Витя, журналист. Станный, длинноногий. Приходил, садился в угол, просматривал газеты и запивал их водкой. Отвлеченный человек... Я познакомила его с Ханой Орловой, мы дружили. Она была очень способной в лепке. Так вот, Витя смастерил ей известность всякими журналистскими штучками. Но это было позже, а вначале Орлова снимала небольшую сумрачную комнатку в мансарде. Из окна открывался вид на крыши и помойки. Я привела Цадкина, он ходил по комнате, смотрел скульптуры, кривлялся и причмокивал: «Хорошо, хорошо...», а когда Хана вышла на минутку, свинья Цадкин повторил: «Хорошо... Из нее бы вышла хорошая кухарка».

Да, дворик из окна – зажат крышами, глубокий, как штольня, голуби слетались на помойку... Очень уютный был город – Париж... А поехать за границу тогда было проще простого. Посылался в полицейский участок дворник Василий и через час приносил оттуда заграничный паспорт. Это стоило, если память не изменяет, рублей пятнадцать...

– Что вы делаете! – воскликнул Петя, заметив, что старуха собралась нарезать еще хлеба. – Это нож, которым вы палитру чистите!

– Ну и что? – спокойно возразила она. – С микробами надо дружить. Твое чистоплюйство мне осточертело... Нина, Петька готов без конца вылизывать пол, что никому не требуется, мыть посуду, стирать, и вообще он с особым вдохновением занимается бабскими домашними делами.

– Ну и... вернул вам Цадкин четыре франка? – спросила Нина, опасливо косясь на заляпанный краской нож в руке старухи.

– Нет, конечно. Он был нищ и нахален необычайно. Этим он меня интриговал. И такой худой, что приходилось его подкармливать просто из человеческого сострадания. Мы часто обедали вместе. За обед платила я, но давала деньги ему под столом, чтобы его не считали сутенером. Знаете, французы с этим шутить не любят... Да... К процедуре обеда он относился трепетно... Помнится, в день, когда началась Первая мировая война, я бежала по Монпарнасу и наткнулась на Цадкина. Он со своей белой болонкой шествовал в ресторан. «Вы слышали – война?! – крикнула я. – Что вы собираетесь делать?» – «Цадкин должен обедать!» – важно ответил нахал Цадкин...

Петя вскочил, вытащил из ящика кухонного стола нож и со злым лицом бросил его на стол.

– Ну что ты реагируешь, как пьяный гусар в офицерском собрании? – с досадой спросила его старуха. – Я говорила тебе сотни раз: беспорядок надо рассматривать как натюр-морт.

Матвей, меланхолично спокойный, развернул конфету и сказал:

– Вы знаете, что в Пушкинский привезли французов? Курбэ, Делакура...

Матвей всегда умел мягко и незаметно перевести разговор и отвлечь старуху. Да и то сказать – знакомы они лет тринадцать, и художник частенько бывал невольным свидетелем отвратительных, надрывных сцен в мастерской. Матвей вообще был во многое посвящен.

– Как?! Французов привезли? – Старуха заволновалась. – Почему же ни одна сволочь мне не доложила?

– Ну вот, я та сволочь, которая докладывает...

– Нет, Матвей! Матвей, вы понимаете, что это такое?! – Старуха расписывалась не на шутку, даже палкой в пол стукнула. – Знаете, отчего они все молчат?! Меня ведь туда отвозить надо, а это хлопотно! Хлопотно старую клячу таскать по музеям, по лестницам! А?!

– Ну что вы буйствуете? – враждебно спросил Петя. – Выставку только вчера открыли. Успеете.

– Вот! – с радостной ненавистью проговорила старуха, ткнув пальцем в него, но глядя торжествующе на художника с женой. – Вот!! Он знал! И он молчал, чтобы не возиться, не обременять себя!

– Да!! – крикнул он вдруг, бросив вилку на стол так, что она подпрыгнула и со звоном упала в тарелку. – Да, молчал, потому что в моей жизни есть проблемы поважнее ваших французов! Мне есть куда ходить! Есть чьи пороги коленями отирать!! Есть лестницы кроме музейных, с которых меня спускают!!

Молодая женщина отрешенно и даже расслабленно разглядывала скульптурную композицию в углу, только брови ее напряженно подрагивали.

Фу, черт, как это он не сдержался перед посторонним человеком! И что за ахинею он понес – где это он колени отирал и с каких таких лестниц его спускали?! И ведь обычные старухины штучки, когда он, наконец, научится пропускать их мимо ушей!

Он выскочил и, пробормотав что-то неловко-извинительное, боком, торопливо вышел из мастерской.

Но за дверью остановился, прислонился лбом к холодному плечу гипсовой Норы и перевел дыхание. В мастерской старуха спокойно проговорила:

– Да, хотела рассказать вам, Матвей: вчера Сева приволок двух молодых поэтесс, они сидели допоздна, читали свои вирши. Одна совсем неземная, пишет под Гумилева. Потом выяснилось, что она имеет какое-то довольно влиятельное положение в Третьяковке, в закупочной комиссии... Я это к чему, Матвей: к тому, что все эти неземные имеют, как правило, весьма земное и прочное существование...

И Матвей что-то негромко и коротко ответил ей. Спазм бешенства сдавил Пете горло ошейником. Милые люди, славная беседа. Ничего не произошло: мало ли невоспитанных типов околачивается среди нас.

В мастерской с шумом отодвинули стул и кто-то направился к дверям. Метнувшись по коридору, Петя взбежал по лесенке и замер в темноте перед дверью своей каморки. Из мастерской вышла Нина, постояла мгновение, очевидно осваиваясь в полутьме коридора, и неторопливо прошла в сторону уборной. Он смотрел на нее сверху. У нее легкая худошавая фигура. Впрочем, в бедрах не такая уж худошавая. И вообще – что можно сказать о фигуре одетой женщины?

Он вдруг почувствовал сильный, горячий пульс в висках и подумал – а собственно, почему его должна заботить фигура жены Матвея? И зло повторил себе: да-да, жены Матвея, жены, вот именно. А ты стой на этой обшарпанной лестнице и воровато подглядывай, как ходит незнакомая непринужденная женщина, чужая жена. Впрочем, ему нет никакого дела до жены Матвея.

Через минуту Нина вернулась в коридор, постояла несколько мгновений перед томно изогнувшейся Норой, вдруг вздохнула и, как показалось Пете, обречено потянула на себя дверь мастерской.

А он зашел к себе и с полчаса взбудоражено мотался по комнатенке, то валясь на топчан, то вскакивая и прислушиваясь к невнятице голосов внизу... Потом все-таки не выдер-

жал, спустился и несколько раз бесшумно прошелся по коридору. Смешно – его знобила невыносимая тоска. По какому, позвольте поинтересоваться, случаю?

– ...Приехал он из Италии только один раз за эти десять лет, в прошлом году, когда умерла от инфаркта его мать, моя единственная дочь Саша. Надо было продать дачу и получить наследство, и это обстоятельство влекло его на Родину с необыкновенной силой... Вообще он порядочный жулик...

Ага, это она о Мише, и, конечно, не слишком стесняется в выражениях. Миша – жулик?!

– ...Что? Чем он занимается? Боюсь, что он сам не сможет ответить на этот вопрос, – и старуха рассмеялась своим коротким смешком.

Он почувствовал вдруг апатию ко всему. Это часто наваливалось на него в последнее время – ватное безразличие к происходящему и тяжелое желание спать долго, без просыпу. Он медленно поднялся к себе, повалился на топчан и уснул.

Проснулся Петя часа через два от боли в затылке. Не разнимая век, повернулся на спину, и боль ядовитыми ручейками перелилась в виски. Он тихо замычал и открыл глаза. В комнатке было уже темно.

На его плаще, перекинутом через кресло, лежал изломанный ломоть синего блика от витрины кафе напротив.

Он вспомнил, что сегодня среда. Роза не стряпает, и, значит, с утра старуха не ела горячего. Надо пересилить себя, подняться и сварить хотя бы картошку. Накормить старуху, заодно и самому пожевать что-нибудь.

Не шевелясь, он повел взглядом по стенам. Темнота скрадывала убогую колченогость набранных по знакомым или подобранных где-то вещей. Он представил, как по обшарпанной лестнице сюда поднимается и входит... ну хотя бы секретарша, чьи детские ручки он почтительно и безразлично лобызал сегодня. Ах, Петр Авдеич, это и есть ваши апартаменты? Впрочем, современное дитя дискотек выражается иначе: дед, скажет она, ну и хата у тебя, смотреть тошно...

Да нет, конечно, это счастье, что к мастерской положена скульпторам подсобка. Здесь он все-таки сам себе господин, старухе трудно подняться даже по этой семиступенчатой лесенке, в противном случае от нее бы не было житья, как прежде, когда они жили в огромной комнате в коммуналке на Садовой-Каретной.

Ну, довольно валяться, надо встать и заняться стряпней. Тонкая острая боль из висков затекла в глазницы, вибрировала, жалила. Он сидел на топчане, потирая лицо и массируя шею...

В мастерской под желтым абажуром пасмурно светила настольная лампа на корявой бронзовой ноге, не чищенной лет этак двадцать. Старуха сидела в кресле, свесив нос, словно вынюхивая что-то, водила небольшой лупой по страницам мелкого текста в журнале «Иностранная литература».

Когда Петя вошел и, выдвинув из-под кухонного стола фанерный ящик, стал вяло копаться в нем, выбирая картофелины покрепче и покрупней, она сказала не оборачиваясь:

– Жую знаменитого Фолкнера. Сева принес вчера. Он совсем затравил меня великой американской литературой...

Петя расстелил на столе старую газету и так же вяло принялся чистить картошку, стараясь пересилить головную боль по-своему: сжимая зубы.

– «Свет в августе»... Первый десяток страниц читаешь с любопытством, – продолжала она. – Потом начинаешь подозревать, что больше всего на свете автора интересует собственное пищеварение. Он подробно и любовно прослеживает, как проглоченный им кусок проходит через пищевод в желудок, переваривается там, попадает в кишечник... И приглашает всех в это увлекательное путешествие... Когда читатель обнаруживает, что заплутал в лаби-

ринте авторских кишок, он уже начинает догадываться, чем закончится пищеварительный процесс и куда в конце концов он, бедный, выберется....

Петя усмехнулся, срезая кожуру с последней картофелины. Старуха, конечно, пристрастна и совершенно не права, но какая умница – так припечатать мгновенной и убийственной картинкой. Можно поклясться, что такого пенделя Фолкнер не получал ни от одного из своих недоброжелателей.

– Чушь! – буркнул он. – Вы ни черта не смыслите в американской литературе.

– Возможно. После Толстого и Чехова мне скучно копать во внутренностях американца.

Он промолчал, не желая ввязываться в старый спор, поставил кастрюлю с картошкой на плиту, подошел к столу и отломил кусок булочки.

– Откуда эти блага? – он кивнул на стол. – Матвей раскошелился?

– Да нет же, пенсию принесли. За месяц я совсем забываю, что существует такое удовольствие, и каждый раз бываю приятно поражена... Принесли утром, тут Роза как раз случайно забежала...

– Именно Роза забежала не случайно, – перебил он. – Именно Роза прекрасно помнит, когда вам приносят пенсию. Она забежала пожить. Признайтесь, вы сунули ей трешку?

– Милый мой, а как же? Ведь Роза немедленно сбегала в магазин и купила продукты, я должна была поблагодарить ее за услуги.

– Так! – Он торжественно уселся на табурет, не замечая уже, как в нем просыпается обычное раздражение. – Подсчитать сейчас, сколько содрала с нас мерзавка Роза?

– «Контора пишет», как любил говорить Илюша Ильф, – сказала старуха, – который частенько сидел вот на этом табурете...

– Про Ильфа слышали, – перебил он. – Итак, подсчитаем: что она принесла из магазина? – Он вскочил и рывком открыл дверцу старенького «Саратова» в углу под антресолями. – Так... сыр... ну, здесь полкило, это рупь с полтиной. Колбаса – рупь, не больше, масло... сметана... Итого – четыре восемьдесят, ну пять. Что еще? Конфеты?

– Петька, ты жмот и мелкая личность. Конфеты роскошные, десять рублей кило.

– Эти конфеты стоят четыре пятьдесят, к вашему сведению. Итого – продуктов рублей на двенадцать от силы. Сколько потратила мадам Роза?

– Ну, мальчик... ты что-то путаешь... Я дала Розе четвертную, она принесла трешку сдачи, и я, конечно, эту трешку не взяла. Терпеть не могу крохоборства!

– Прекрасно! – Он торжествовал, он упивался ее житейским идиотизмом. – Так знайте, что эта... эта... у меня нет слов, чтобы назвать эту...

– А ты выматерись, – добродушно посоветовала старуха.

– Эта тварь нагрела нас сегодня рублей на пятнадцать! – крикнул он так, что выстрелило в ухе и отдалось в затылок.

– Да? – удивилась старуха. – Ты подумай, как она ловко считает. Ты тоже, мальчик, мастак подсчитывать копейки. Я очень тебе в этом завидую... У меня с арифметикой всю жизнь обстояло дело худо... Не помню, рассказывала ли я тебе, что мама у нас была прекрасным математиком, она, одной из первых женщин, закончила в Киеве математический факультет. Ее сравнивали с Софьей Ковалевской...

– Слышали раз двадцать о выдающейся маме, – пробормотал он, пробуя вилкой, готова ли картошка.

– Так вот, нас было четверо детей, и со всеми мама занималась математикой. Нас никогда не наказывали, но во время занятий мама частенько выходила из себя и била меня тетрадкой по голове.

– Ее можно понять. – Он раскладывал по тарелкам картошку, исходящую влажным паром. Положил масла, присолил. Поставил чайник на плиту.

– А когда нам было лет по четырнадцать, мы – пятеро дур-подружек – собирались у нас дома раз в неделю. Шестнадцатилетняя Надя Малкина читала нам лекции о прибавочной стоимости. Мы полагали, что у нас тайный марксистский кружок... Однажды папа случайно услышал в приоткрытую дверь Надину лекцию и вечером, отозвав меня в сторонку, сказал мягко и недоуменно: «Аня, ты же не знаешь арифметики!»

– Давайте ужинать.

Он подтащил кресло с сидящей в нем старухой к столу, пододвинул ей тарелку, нарезал хлеб.

– Это что – картошка? – Она повела носом. – Очень своевременно и толково. Ты и масла положил?

– Положил...

– Удивительно. А посолить не забыл?

– Ешьте, ради Бога, когда вам подают, и не учите меня варить картошку!

Некоторое время они ели молча. Мастерские вокруг затихали, художники и скульпторы расходились по домам. Лишь наверху, на втором этаже, поскрипывали половицы антресолей – это все еще работал Саша Соболев, художник, холостяк; он часто оставался в мастерской, и тогда наверху всю ночь будто цапля щелкала – это Саша печатал на своей машинке статьи в газету «Московский художник».

Боль в висках и затылке постепенно угасала, в груди мягчело, свет от старой лампы желтым апельсином лежал на полу, в нем стояли старухины старые ботинки; и понемногу раздражение и тоска, как и боль в висках, не пропали, нет, но ушли вглубь, сжались в комочек, и хотелось ему тишины, мира, спокойной беседы, а более всего – тишины, в которой лишь поскрипывают половицы антресолей наверху...

Он заварил свежего индийского чаю, разлил по чашкам.

– Как тебе показалась Матвеева жена? – спросила старуха. – Недурна, по-моему, и неглупа...

Он пожал плечами. Не хотелось сейчас ни о Матвее, ни о жене его, ни о своих неприятностях. Все эти разговоры были чреваты взрывом, оскорблениями, а ему сейчас так хотелось тишины, которая убаюкала бы его душу, как убаюкала она головную боль.

– Что-то переводит с испанского. Или с португальского. А может, и с того и с другого. Любопытно почитать, что там она царапает. Что может нацарапать хорошенькая женщина?

Он отмалчивался, понимая, чего хочет старуха. Ей слишком покойно было сейчас, как кулику на тихом болоте, ей хотелось это болото всколыхнуть, взбаламутить, поднять со дна душливые газы. Старуха просто не могла без встряски, она жаждала крови.

– И вообще – что может сделать в искусстве хорошенькая дамочка, а, мальчик?

– И в то же время для этого недостаточно обладать вашим убийственным носом, – тихо и отчетливо проговорил он.

Получай. Ты просила.

Старуха улыбнулась с довольным видом. Она радовалась, что удалось вытянуть его на драку.

– Тебе, я вижу, приглянулась эта цыганочка. Что ты намерен делать?

– Допить чай, – угрюмо ответил он. – Если вы, конечно, дадите.

Умиротворенная тишина этого вечера подернулась рябью, словно озеро перед непогодой. Старуха разбивала ее, как от скуки разбивает камушками юный бездельник зеркальное спокойствие пруда. И уже пузырилось и поднималось со дна души потревоженное раздражение.

– Да... Боюсь только, что она вообразила, будто играет в жизни Матвея важную роль.

Он собирался отпить глоток чаю, но, услышав это, опустил чашку и изумленно уставился на старуху. Господи, до чего надо дойти в полном равнодушии к кому бы то ни было, чтобы отрицать все очевидно теплое и нежное в жизни человека. А вслух он сказал:

– Она ее и играет.

– Вздор! – отчеканила старуха. – Для Матвея в жизни важно только искусство!

– И вы! – подхватил он со злорадным смешком. Чашка подрагивала в его руке. – Вы и искусство! Поздравляю вас с началом маразма. И то сказать – давно пора. Девяносто пять годков-с! И хватит о Матвее, умоляю вас! Мне надоел ваш Матвей и его жена тоже уже надоела!

Он был готов к драке, совершенно готов. Как обычно, старуха добила своего несколькими словами – она любила жрать человечину. И даже не жаль было тихого вечера, ему хотелось говорить и говорить ей ужасные, оскорбительные вещи, хотя он знал, что ее нервная система неуязвима, и все его удары обрушатся на него же, и больно будет только ему.

И тут же опять заговорил – быстро, сбивчиво, и опять о Матвее:

– Утверждать, что жена не играет в жизни мужика никакой роли, можете только вы, с вашей биографией и уникальной личной жизнью. Это в вашей жизни муж не играл никакой роли. Так не судите всех по себе. С вашим потрясающим эгоизмом трудно сравниться кому бы то ни было. Взять хотя бы сегодня: я четыре часа как вернулся домой, за это время вы успели трижды отравить мне существование, но так и не поинтересовались моими делами.

– А я все знаю, – спокойно сказала старуха.

– Да ну? Интересно, каким же это образом?

– Телефонным. Я позвонила сама вашему знаменитому Бирюзову. – Она невозмутимо потянулась за конфетой. Это была четвертая, старуха любила сласти.

– Что-о?! – выдохнул он шепотом, когда осознал, что она сказала. Приподнялся со стула и, не сводя со старухи потрясенного взгляда, бессильно опустил. У него не было слов, чтобы объяснить безумной старухе, что она сделала. Он молча сцеплял и расцеплял кисти рук. Хотелось истошно мычать.

– Да, я ему позвонила, – продолжала она, разглаживая блестящую обертку ногтем большого пальца и машинально мастера из нее фантик. – Кстати, может, он и талантливый человек, но, судя по разговору, глупый и напыщенный гусь. Его отец был гораздо умнее и порядочнее. Я знала его отца. Одно время мы встречались за преферансом у Осьмеркиных...

Убить ее. Убить немедленно. Трахнуть по лбу сахарницей или бюстиком Бетховена... Это она все погубила сегодня. Все дело в ее телефонном звонке, а вовсе не в декретных отпусках Елены Ивановны и Инги Семеновны.

– Один из таких вечеров я помню прекрасно. В тот раз у Осьмеркиных сидела Ахматова – я ее не любила, довольно противная была баба... Вдруг вошел Вертинский – милейший человек, он дружил с Осьмеркиными. Так вот, едва вошел Вертинский, Ахматова всем своим видом стала показывать: я, мол, Анна Ахматова, а ты – пошляк Вертинский...

Он застонал и обхватил руками голову.

– Что вы говорили Бирюзову? – процедил он, глядя в тарелку и массируя виски.

– Я сказала, что если он широкий человек, то просто обязан взять тебя в театр. Что ты способен не только выполнять обязанности завлита, на мой взгляд совершенно вздорные и никому не нужные, но и поставить спектакль, и не хуже, чем какой-нибудь заслуженный пуп.

Он захохотал и смеялся долго, истерично, до икоты, выкрикивая поминутно:

– И что... со временем... я смогу с честью... занять кресло... самого Бирюзова!..

– А почему бы и нет? – Она глядела на его истерику с недоумением. – Преемственность в творчестве – благородная и, кстати, неизбежная традиция... Тогда знаменитый Бирюзов сказал, что для такой выдающейся фигуры, как Петр Авдеевич, их театр – просто убогая

контора и что лучше всего ему подойдет должность Эккермана при Гёте. И, доказав этими словами, что он ревнивый и трусливый индюк, повесил трубку.

Петя, казалось, развеселился страшно. Он повалился грудью на стол, лбом чуть ли не в сахарницу, всхлипывал и вскидывал голову, как взнузданный конь. Старуха пыталась еще что-то добавить, но он ее не слышал.

Наконец откричался, утерся носовым платком и умолк. Некоторое время он бесцельно переставлял на столе чашки, плетенку с конфетами и бессмысленно улыбался.

– Понятно, почему он даже не захотел говорить со мной, – пробормотал он несколько минут спустя. – Секретаршу выслал... А дело было на мази, меня рекомендовал Сбросов, и каких усилий все это стоило...

Он заторможенно глядел, как она подлила себе в чашку кипятку, и проговорил медленно, с эпическим спокойствием:

– Знайте, что сегодня вы погубили меня, ужасная старуха...

– Не драматизируй, – отмахнулась она. – Все к лучшему. Мне вообще не нравилась эта затея. Что это за работа – состоять цербером при режиссере и загрызгать чужие пьесы? Сядь и напиши свою, если тебе есть что сказать.

– Вы и Матвею много напакостили своей глупостью, – ровным голосом продолжал он, не слыша старуху. – Его никогда не примут в Союз художников, и не потому, что он «слишком левый», а потому, что вы, именно вы звоните тем, от кого прием зависит, и с великолепным идиотским апломбом заявляете, что Матвей – гений, что все они просто обязаны принять его в Союз и записаться в порядке алфавита к нему в ученики.

– Твоя ирония бездарна, потому что так все и есть.

– Вот именно. Остается удивляться, как это до сих пор Матвею не изменила выдержка и он не схватил ваш же скульптурный молоток и не проломил им ваш феноменальный череп!

– В наше время, – невозмутимо ответила старуха, – художник всегда находил в себе мужество признать, что другой – гений.

– В ваше время многое выглядело по-другому, но и тогда были умные люди и такие, как вы, – обладающие гибкостью швабры... И прекратим эту грызню. Вы все равно ничего не поймете, потому что не слышите и не видите других людей...

Он сказал «прекратим», но уже сам не мог остановиться. Все внутри у него дрожало от ненависти, все было отравлено горечью. Хотелось припомнить ей все обиды за эти пятнадцать лет, с первого дня до сегодняшнего.

– И зачем вы так скверно говорили о Мише? – встрепенулся он, обрадовавшись, что вспомнил очередную гадость старухи. – Жуликом обозвали, хотя прекрасно знаете, что он не жулик, а нормальный человек и уехал не почему-либо, а полюбив и женившись, и это его личное дело, в конце концов! Это вы могли запросто шлаться по Елисейским полям туда и обратно, а для нас это вопрос перелома всей жизни, и если человек выбрал то, а не другое, так и не вам судить его!

Он говорил это запальчиво, возмущенно, хватая тарелки и с грохотом сваливая их в раковину. Все, что он говорил, казалось ему убедительным, но старуха, откинувшись в кресле, так весело и откровенно любовалась этой вспышкой, так небрежно, слегка в наклон отставив палку, вращала ею, что он запнулся на полуслове и молча, остервенело крутанул вентиль крана.

– Я и не подозревала, что ты так горячо любишь Мишу, мальчик, – с удовольствием проговорила она.

– Я не люблю Мишу, и вы это знаете! – он перекрикивал шум воды. – Но меня возмущает несправедливость!

Она помолчала мгновение, словно высматривая наиболее уязвимое место для удара, и наконец сказала торжественно:

– Мальчик заговорил о справедливости. Забавно...

Он резко завернул кран. Стало зловеще тихо, только последние упущенные капли звонко тяпнули по краю торчащей из стопки тарелки. Побледневший, с мокрыми подрагивающими руками, Петя обернулся к старухе.

– Остановитесь! – сказал он тихо. – Я доскажу за вас, – шагнул к ней, глядя светлыми, неподвижными от ненависти глазами. – Пятнадцать лет назад вы выбрали и пригрили голодного общежитского щенка. Вы дали ему крышу над головой, привили вкус к живописи, литературе, театру – к искусству! Вы обучили его, вы развили его душу, и главное – главное, частенько попросту кормили его, со-дер-жа-ли! Например, последние месяцы вы его содержите, этого бессовестного тунеядца, не получая взамен никакой благодарности. И вот теперь этот щенок, выросший за пятнадцать лет в шелудивого пса, смеет что-то твякать о справедливости! Вам – высокому образцу добродетелей и талантов – о справедливости! Ведь так? Ведь вы это собирались сказать? Говорите. Скажите наконец все, и довольно. Но предупреждаю: на этот раз я уйду навсегда! Итак: вы именно это собирались сейчас сказать?!

Несомненно, старуха собиралась сказать именно это. Но он видел, что она струхнула, и знал, что сейчас она пойдет на попятный.

– Петька, ты болван! – сказала старуха сурово. – Ты собачий идиот, мальчик!

Большой грубой ладонью она обхватывала набалдашник палки, словно хотела смять его, как ком глины.

От величественности престарелой императрицы и следа не осталось.

– Налей мне еще чаю, психопат. – Ее глаза, живые верные глаза полевого зверька, глядели затравленно.

Это был пик его торжества. Он выдохнул, чувствуя себя вконец измочаленным, вернулся к мойке и молча, подпрыгивающими руками домыл посуду...

* * *

Под утро папа все ходил, ходил по дому, хлопал дверьми, ронял что-то. Ходил по дому в подштанниках, сердился, негромко выговаривал Стасику ворчливым голосом. И ей сквозь сон казалось – это он на нее сердится, и хотелось спать – скорей бы он спустился в свою водолечебницу, никогда утром поспать не даст.

Еще накануне вечером они, двое младших – Аня и Станислав, уговорились поехать в Нахичевань. Конка туда и обратно, и чтобы дома не знали. Ехали кутить и шататься. Стасик напечатал заметку о гастролях театральной знаменитости, Стасик получил первый гонорар – семь рублей! – огромный гонорар для гимназиста последнего класса. Итак, конка туда и обратно, и чтоб дома не знали...

До блеска начищенный двугривенный в кудрявом ухе духанщика пускает зайчики в подносы с халвой и миндалем. Стасик сказал ей тихо: «Это значит: „Меньше двугривенного и слышать не хочу!“ – И она загоготала неприличным своим басом. – Фи, Аня, разве девочки так смеются?» Стасик всегда смешил ее до колик в боку...

...Слышно, как увесисто протопала по коридору Наталья – понеслась ставить самовар. Значит, скоро швейцар Ибрагим придет наверх за чаем. Добряк Ибрагим всегда одаривает детей конфетами. Сует по-воровски в руку, чтобы доктор не видел. Доктор – противник конфет.

У доктора – водолечебница. Водолечебница – это храм. С нее начинается жизнь, и детство бьется в ее высоком круглом куполе, как бабочка в стеклянной банке. Водолечебница – папина! – одна из первых в России. За новой арматурой родители ездили в Берлин. Оранжерея, зал, где купаются... Перед изумленным взором восьмилетней Ани, забежавшей без спросу в зал, папа с кафедры поливает из шланга голых дам. Аня уже ходила с Натальей в

баню и видела там голых баб, но не подозревала, что раздетые дамы совершенно такие же – вислые, дряблые, косолапые. Мадам Веретенко, приподняв пудовую левую грудь и почесав под нею, сурово спрашивает у желтой и голенастой, как высушенный кузнечик, Марии Семеновны: «А личная судьба у вас, милая, не удалась?..»

Фи, Аня, ну что ты ржешь, как наша пристяжная? Разве девочки так смеются?..

Величественная фигура кухарки Натальи. «Наталья, дай пожевать!» – «Вот еще! Терпите до обеда, барышня...» – «Ну, кусочек, Наталья! А? А вот смотри, что там?» – «Где?» – «Да вон, за спиною!..» – «Ой, ну как не стыдно, барышня, вот доктору доложусь, что вы пряник стянули, вот доктор вздует...»

На веселеньких палевых обоях тень, смешная, с длинным носом. «Анька, стой так, я твой портрет смастачу! – Стасик обвел карандашом ее профиль на стене. – Вот смотри, такая ты будешь в старости – носатая, лохматая Анна Борисовна!» Хохочет, глупый... Глупый, я не доживу до старости, папа говорит, что у меня слабое здоровье!

На стене висит скульптурка: домик, в окошечко смотрят человечки. Это папа привез из Варшавы. Когда никто не видит, Аня залезает на стул и долго водит пальцем по глянцевым изгибам окошка. Пальцы чутки и жадны: вот так бы смяла и слепила заново, почему-то кажется – не хуже... Аня уже видела настоящие скульптуры. В соседнем переулке, в подвале, – форматорская мастерская. Там работают Федор Гаврилыч, насупленный и трезвый, и Федька Покойник, веселый и пьяненький, с неизменными прибаутками и песенками. Как-то Аня забежала посмотреть на работу, и Федька Покойник, сбивая форму на голове античного сенатора, запел козлино: «Цыгане в озере купались и поймали рака. Целый день они искали – где у рака...»

И тогда Федор Гаврилыч сердито цыкнул на него и впервые заговорил с Аней, ласково, подробно объясняя, что он делает и зачем... Года через два она принесла в эту мастерскую свою первую работу – портрет отца...

...Когда она проснулась и, подложив под щеку большую ладонь с немеющими пальцами – размятую ладонь старого скульптора, привычно глянула в огромное окно мастерской на кивающие чему-то кроны деревьев, прояснилось, что утром папа никак не мог ходить по дому в подштанниках по той причине, что вот уже шестьдесят лет существует только в ее снах. И еще она подумала, что существовать, пусть даже в такой призрачной оболочке, папе осталось совсем недолго, и тогда, конечно, доктор Скордин исчезнет из этого мира навсегда...

Мысли эти не были ни грустными, ни горькими. Она всегда эпически-спокойно думала о смерти. О любой смерти – и о своей. В то же время ей совершенно не наскучило жить, и по утрам она с неизменным удовольствием усаживалась за этюдник, если мальчик бывал в духе и подготавливал ей все для работы.

Сегодня, например, можно писать натюрморт с гнутой ржавой селедки, такой старой, что она давно уже перестала напоминать продукт, а превратилась в муляж. Селедка валялась на подоконнике с давней какой-то вечеринки, совершенно задубела и даже надломилась, а вчера пришел Матвей, наткнулся на селедку, хмыкнул, быстро уложил ее на белом надбитом фаянсовом блюде, бросил на табурет старую вишневую драпировку и, перед тем как начать портрет, минут за сорок написал на картонке прекрасный натюрморт с дохлой страдалицей...

Да, проклятые немеющие пальцы уже отказываются мять ком влажной глины, но еще держат кисть и мастихин. Значит, жить необходимо и впредь. Только бы мальчик проснулся в приличном настроении и подготовил мольберт для работы.

В последнее время он стал особенно мнителен и желчен. Любое слово по своему адресу воспринимает как оскорбление. Вчера, например, вспыхивал и орал совершенно уже по пустякам. Несчастный мальчик, ему очень не везет. Конечно, в какой-то степени он заслу-

жил все эти мытарства: Петька, в сущности, человек недобрый, неширокий и бесхарактерный, – но что делать, если жизнь без него немыслима?

И что за дело избрал он себе, прости Господи, – театровед? Кто бы объяснил ей, что это значит! Он ходит на спектакли, возвращается торжествующе-ядовитый, ругает всех и вся – и актеров, и режиссеров, и драматургов – и уверяет, что сегодня нет настоящего искусства, словно искусство может когда-нибудь прекратить существование... Иногда создается впечатление, что мальчику очень хочется, чтобы искусство прекратило существование. Тогда бы он писал и писал про это в своих умных статьях, и ругался, и плевался, и радовался этой кончине в отместку за то, что сам еще ничего не создал.

То, что он никак не может подыскать себе работу, хотя однокурсники уже выбились в начальство, закономерно. Он перессорился со всеми. Собачий характер и невероятные амбиции. От каждой встречной кошки на лестнице он требует немедленного признания его ума и таланта, немедленного восхищения, а если вдруг эта облезлая кошка по занятости своей восхищения не выразит, берегитесь все – искусство подыхает, режиссура дышит на ладан, актеры бездарны и непрофессиональны, и все вы подлецы и мерзавцы.

«Кругом одна ложь!» – любимый конек в любом разговоре. Возражать, что сияющая правда существует только в горних облаках и в снах полусумасшедшей Веры Павловны из плохого романа Чернышевского, – бесполезно. Он не хочет понять, что Правда – всюду и художник всю жизнь намывает ее, как старатель, по крупинкам! Если же он с юности требует от жизни немедленного предъявления правды как некоего служебного удостоверения, то он не художник, потому что не сострадает себе подобным, а поминутно тащит их на Божий суд.

Да, мальчик честен. Скажем так – он порядочен в бытовых мелочах и требует этого от всех, даже от тех, кому честность не свойственна, следовательно, требовать ее от них – глупейшее занятие. Он постоянно пытается вскарабкаться в высокое седло Росинанта, но, чтобы удержаться в этом седле, необходима наивная страсть благородного идадьго, а страсть мальчик повыговорил в бесконечных разговорах о лжи и правде. Говорить он умеет.

Он умен, будем справедливы, и жаждет что-то делать в искусстве, но кому и когда, со времен сотворения мира, ум заменял талант? Да, талант, талант... богоданная способность рожать, вечное диво на вечно живой земле... И выются бесплодные умницы вокруг блаженных рожениц, и толкуют, и судят, и взвешивают дитя, свивают его и качают; горькое, вероятно, занятие – нянькать чужое дитя...

Нет, нельзя сказать, что мальчик – вне социума. В юности он петушился. Писал! И даже печатался. Но в процессе редактирования ему, как водится, повыдергивали перьев из хвоста, и он вовремя понял, что петушиться с ощипанным хвостом неприлично. Устал. Сник. Вообще – надорвался и забился в драмкружок швейной фабрики. Надорвались, надо сказать, за эти годы многие. Впрочем, кое у кого нашлись все-таки силы поднять гребень сейчас, хотя мальчик утверждает, что сегодня распевают те, кто тогда помалкивал. С чего бы такая строгость? Все с того же: мальчика не зовут попеть на высоком заборе. Забыли... А не собачься, не дери нос, не бросайся друзьями. К тому же за годы подросло много молодых и вполне голосистых петушков, это надо учитывать.

Итог – что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день, когда из театральной братии только ленивый не сколотил какой-нибудь этакой еще студии и не поставил там этакое, вроде статьи Бухарина «Заметки экономиста», где выпускники ГИТИСа играют бухаринскую и сталинскую позиции по вопросу нэпа, – на сегодняшний день многоуважаемый Петр Авдеич сидит в углу мастерской, жует бублик и брюзжит, что оживление в политической жизни страны еще не гарантирует возрождения искусства. Петр Авдеич брюзжит потому, что его не позвали это искусство возрождать. Обошлись, не позвали...

Слышно было, как Петя ходил по своей комнатке, потом спустился, прошел мимо дверей в ванную и долго плескался там, бормоча, – он всегда разговаривает вслух с собою.

Долго. Вероятно, брился. Интересно, соблаговолит он заглянуть и поинтересоваться, жива еще старуха или перекинулась. Кстати, о – перекинулась. Надо бы позвонить кому-то из друзей, посоветоваться – как подступить к этой тошнотворной юридической процедуре с установлением опекунства. Чего доброго, мальчик останется в Москве без крыши.

Соблаговолит. Показался в дверной щели выбритым подбородком и буркнул «доброе утро».

– Привет, – отозвалась она благодушно. Интересно, как бы повел он себя, если б в одно прекрасное утро она не отозвалась со своей сиротской раскладушки. Вероятнее всего, воспринял бы это с огромным облегчением. Надо смотреть правде в глаза – мальчик к ней совершенно не привязан. Он терпит старуху сцепив зубы. В таком случае следует мудро и спокойно взглянуть на вещи и действительно поторопиться с опекунством, чтобы не обмануть его справедливые ожидания.

Вот он поставил чайник на плиту – это хорошо, она любит выпить утром стакан горячего чайку. А то, что он опять схватился за ненавистный веник – предмет своей страсти, – это ужасно.

Не вынимая ладони из-под щеки, она с насмешливым презрением наблюдала со своего скрипучего ложа, как Петя дотошно выметает мусор из углов, заваленных холстами и подрамниками, как ему не лень переставлять с места на место скульптуры и вытирать с них пыль.

– Твоя маниакальная страсть к порядку в какой-то степени, конечно, выгодна, – сказала она, – но иногда мне хотелось бы знать, где находится хоть одна из четырех моих записных книжек. Я люблю, чтобы они были у меня под задом, а ты раскладываешь их по каким-то неведомым полкам в непостижимой уму закономерности...

Мальчик молча подметал. Лицо с выбритыми, словно отточенными лезвием скулами было непроницаемо.

– Это у тебя от неудовлетворенной страсти к режиссуре, – добавила она. – Ты прибираешь, как мизансцены строишь. Постой, не убирай эту картонку. Поставь-ка на мольберт... – Старуха умолкла, задумчиво рассматривая Матвеев натюрморт с селедкой. – Посмотри на эту страдальцу, – негромко, с удовольствием проговорила она. – Жизнь переломилась, все в прошлом... А Матвей сделал из нее веселую девушку. Теперь эта селедка счастлива, что ее поймали...

– Да, вот что! – вдруг перебил Петя. – Забыл сказать вчера: я уломал мастера-ортопеда сшить вам ботинки. Сегодня в девять он придет мерку снять. Только деньги нужны вперед. По крайней мере задаток – рублей пятьдесят.

– Это безобразие! – сказала она. – Он нахал.

– Он редчайший мастер. К нему пробиться невозможно. Люди записываются за полгода. Я чуть не в ногах у него валялся, чтоб он за две недели сшил вам обувь. Плакал и ползал.

– Очень образно. Но, мальчик, сегодня к вечеру уже не будет пятидесяти рублей!

– Жаль, – холодно ответил Петя, выметая мусор из-за бюста Мейерхольда. – Никто не виноват, что вы содержите стерву Розу и ее милого мужа. И меньше всего в этом виноват мастер.

– Он нахал, – упрямо повторила она. – А ты болван.

– Спасибо, – ответил он с достоинством. Похоже, сегодня мальчик решил давить на нее мраморной глыбой холодного презрения... Нет, сжалился. Но прежде ссыпал мусор в помойное ведро под лестницей, долго и дотошно мыл руки (он ненормальный все-таки, как хотите) и наконец занялся вскипевшим чайником.

– Позвоните Матвею, – сказал он вполне человеческим, домашним тоном. – Вы же собирались одолжить у него денег. А он, похоже, теперь при кошельке.

– Это очень противно, – буркнула она. Петя недоуменно глянул на нее, держа на весу чайник.

– Противно просить, – пояснила она. – И сколько просить, я не знаю. Пятьдесят? Сто?

– Просите пятьдесят, там видно будет. Ведь заплатит же когда-нибудь Третьяковка за Филатова...

После завтрака он вымыл посуду и быстро, почти машинально расставил треножник, подготовил ее привычную палитру (белила в центре, и по обе стороны теплые и холодные полукругом: направо – кадмии желтые, красные, охры, сиены, умбры, налево – кобальты зеленые, синие, ультрамарины). Она давно уже не бурчала указаний ему под руку – Петя как свои пять пальцев знал ее палитру и на указания только огрызался.

Он поставил кресло перед мольбертом. Ну вот. Что еще? Ах да – термос рядом на табурете, чтобы, не поднимаясь, она могла глотнуть чаю.

– Куда ты собрался? – спросила она вдогонку.

Петя придержал открытую дверь и ответил негромко, отдельно:

– Благодарю за горячее участие. Но с меня вчерашней вашей беседы с Бирюзовым довольно. Отныне вы никогда не будете совать нос в мои дела, – вышел и аккуратно притворил за собою дверь.

Ба! Да мальчик все утро, оказывается, ждал этого момента, этого будничного ее вопроса, привычного, как утреннее умывание. Он отомстил за вчерашнее. Не исключено, что и побрился он ради пущего эффекта. Можно поклясться, что никуда он сегодня не собрался – кому и на что он сдался? Ну, прошвырнется по улицам, ну, закатится к какой-нибудь своей бабе-приятельнице. Но эта горькая усмешка, этот театральный поворот головы с приподнятым подбородком!

На что уходит жизнь молодого умного человека?

На что уходит наша жизнь вообще? И – куда она уходит?..

Тот старый зеленый вагончик, скрежещущий на всех поворотах... Того вагончика, что вез девятнадцатилетнюю Аню из Парижа в Кале, конечно же, давно нет на свете. И веселого пошляка француза с портфелем («О, я помощник юриста!»), – пошляка француза, никак не желающего поверить в то, что девятнадцатилетнюю девушку понесло в Кале только затем, чтобы взглянуть на скульптуру Родена (не затем девушки ездят в поездах! и пальцем погрозил: «Но-но-но! Не морочьте мне голову!»), и его, конечно же, нет на свете.

Зато солнце и сегодня заваливается обречено за синюю алчущую гору, и небо вокруг него раскалено дышит, и гора медленно и неуклонно съедает солнце, вот уже из-за склона торчит только огненная стружка, и небо лиловет, как остывающий горн.

Да, это было в Кале... Где еще видела она такое вечернее море и гору, алчно пожирающую кровавую мякоть солнца? В Гаграх, в тридцать четвертом, где отдыхала с дочерью... И дочери нет...

Она виновата перед Сашей. Очень много лет они были в натянутых отношениях. Странно, что гложущее чувство вины возникло и точит ее лишь в последние месяцы. Что это? Откуда желание опомниться и понять? К чему это нудное копошение в давнишних обидах, в старых, умерших словах? Что это? Вероятно, тоска по угасающей своей жизни...

А Саша... Саша умерла. Забавно... Забавно, что сухая, веснушчатая, выкрашенная хной старуха, к тому же покойная, живет в ком-то под уютным, детски-домашним именем Саша...

Таинственная штука – жизнь. Кто скажет ей: когда и почему родное единственное дитя, сучащее в кроватке пухлыми ножками, превратилось в чужую чопорную старуху? И если это подлое глумление над человеческим существом называется жизнью, то зачем – тоска и страстное желание жить еще и еще?..

Дочь во всем получилась другой: комфорт, уютная благопристойность, отреставрированные комоды и буфеты эпохи Александра Второго, неизменная процедура обеда. Саша вообще была очень привязана к вещам: любимая чашка, любимая настольная лампа на любимом письменном столе. Антикварные безделушки на миленьких полочках – чепуха собачья... Впрочем, все со вкусом... Саша всю жизнь занималась историей архитектуры, замуж вышла рано, за известного впоследствии архитектора, и брак получился удачный, уютный, благопристойный, как вся Сашина жизнь.

...А ведь Саша умерла, да. Ведь она была старуха? Саша была старуха. Семьдесят пять – очень преклонный возраст... Как странно все, как удивительно и больно, умерла чужая старуха, и вместе с нею умерло родное крошечное существо с атласными пяточками и чистыми голубыми глазками. По старухе плакать не хотелось – дело житейское, старухи умирают, но мой ребенок, мое милое дитя, мое счастье взхлеб, мои бессонные ночи – о, как рвалось, как надрывалось сердце!

Она не пролила ни единой слезы. Просто влаги такого рода не оказалось в старом организме ни капли. Сидела на раскладушке многопудовым сиднем два дня и смотрела в окно мастерской. Недоумевала – зачем нужно было пережить свою старую дочь?

Приходили люди: тошнотворный в своей сострадательности Сева, притихший за последние годы Матвей, студент Сашка, от которого на версту разит здоровьем и силой. Все эти милые, живые друзья разговаривали с нею осторожно и сдержанно (у Анны Борисовны такое горе, умерла единственная дочь...). Она же не умела объяснить, что у нее стряслось. Да если бы и взялась объяснять, ни один мало-мальски нормальный человек ее бы не понял. Петька чуял. Но Петька умный, сволочь. На второй день нажарил котлет, поставил перед нею, окаменевшей на раскладушке, тарелку и сказал сухо:

– Ну довольно. Слышите? Нужно есть... Саша ведь не позавчера умерла, а очень давно. Я думал, за последние лет сорок вы уже привыкли к ее смерти...

...В последний раз она выбралась к Саше года три-четыре назад. Тогда еще она передвигалась куда ловчее. Достаточно было одного провожатого с левого боку да палка в правой руке – ого-го, она могла без конца шляться по выставкам и любопытным мастерским.

В тот раз к Саше ее отвозил биолог Сева, любопытный субъект, старый дружище, книголюб, книгочей, вислоухая борзая по музеям и премьерам. У него «запорожец», и Сева нередко доставляет ей радость этим старым катафалком – то на вернисаж свозит, то на какое-нибудь скандальное собрание в Союзе художников. Да, милый, милый... Впрочем, он порядочный болван. Очки на его покато безрадостном носу держатся плохо, и поскольку руки у Севы вечно заняты книгами и альбомами, очки он подкидывает произвольным сморщиванием носа, при этом выражение лица его делается такое, словно он хочет спросить: «Чем у вас тут воняет?» И еще эта милая манера ковырять в зубах. Он всюду носит с собой зубочистки и пузырек с настойкой эвкалипта. Перед тем как приступить к священнодействию, опускает в пузырек зубочистку: дезинфицирует. В это время надо видеть его оскаленную пасть и полуприкрытые глаза в нирване. Но пальцы с зубочисткой так остервенело шныряют в зубах, что кажется, вот сейчас наконец он достигнет своего заклятого врага и проткнет его шпагой.

Сева не выносит Петьку. Петька презирает Севу. Оба правы, безусловно, но Сева, хоть и зануда, все-таки полезный и положительный человек, что-то он делает в своей лаборатории, каких-то инфузорий в микроскопы рассматривает. Петька же – вдохновенный бездельник...

Так вот, Саша... Эта жизнь, прожитая впустую... Нет, не возражайте мне! Жизнь, прожитая впустую...

Когда Саше было лет пятнадцать, на даче, летом, она вдруг вынесла на веранду и бросила на стол ученическую тетрадь в розовой обложке. Сказала, хмуря густые нежные брови: «Посмотри-ка, мам, забавно?»

В то время Саша обезьянничала с нее – словечки, мимика, жесты, с той только разницей, что дочь, особенно в юности, была милой, нежно-насуспенной девочкой. (Боже мой, пятнадцатилетняя дочь...) В тетрадке крупным узловатым Сашиным почерком были описаны бесконечные препирательства соседской кухарки Лизы с домработницей Олюней. Помнится, Лиза все всплескивала руками, вытирала их о засаленный фартук и по любому поводу выдавала свою коронную фразу: «Женщина полная, красивая – чем плохо?!» Олюня на все отвечала своим невозмутимым: «Начхать победоносно!» И сюжетик был немудреный, и другие действующие лица встревали там и сям очень кстати, но главное; Лиза и Олюня получились совершенно живые. С первой страницы тетрадки; дразнясь и строя рожи, объявился талант, юный, глуповатый, без мастерства и меры, но он самый, сомневаться не приходилось. Вот, вспомнила сейчас, и... да что говорить!

Эту тетрадку она хранила долго, потом Саша выросла, потом была война и эвакуация в Самарканд, тетрадка затерялась, как множество живых человеческих судеб, потом Саша постепенно состарилась и умерла. Но дело не в этом...

Как странно вспоминать – все ускользает, и прошлые лица, слова и жесты всплывают порознь и вдруг, как обломки кораблекрушения, не сразу и сообразишь – когда что было, чьи это слова пришли в ум, то ли она обидела, то ли ее обидели... Старость...

Так она о Саше. Тот последний визит к дочери. К Саше в дом невозможно было заскочить, заглянуть, зайти... Саше всю жизнь наносился визит... Предварительно требовался телефонный звонок: дочь охраняла свой покой и не любила внезапных набегов. И так, сначала предварительный звонок с долгими препирательствами и договорами о дне и часе визита, потом, уже перед выходом, звонок «Скоро буду». Сдохнуть можно было от всех этих реверансов и приподнятых цилиндров. Наконец Сева, или Матвей, или еще кто-то из друзей доволакивал старуху до Сашиной квартиры, и деликатный звонок кроткой горлинкой ворковал в прихожей. Опрятная дрессированная домработница открывала обитую вишневой кожей дверь. Саша тут же стояла, встречала гостей. Спрашивается, зачем гонять домработницу двери отпирать, если ты уже, черт возьми, вышла в прихожую сама? Сашину домработницу старуха уважала и называла Гримо – та была молчалива и понятлива, как слуга великолепного Атоса.

Визит начинался. Саша в костюме и бусах. Бусы! Нитки жемчугов, броши, бархотки, камеи – Саша не могла, чтобы не болталась на шее какая-нибудь погремущечная дрянь. Эта сорочья страсть к пустякам – от отца. Тому тоже в придачу к жизни совершенно необходимы были запонки, закладки, трубки, трости, бронзовые пепельницы и прочая собачья чушь. (Потом, после ночного сдержанного звонка в дверь, когда вдруг жизнь его навсегда закатилась за глухие кожаные спины, вся эта милая чепуха тоже закатилась, порассыпалась, порастерялась под столами и диванами. Саша всегда упрекала – памяти об отце не сохранилось. Разве память – в этом, дурачье?)

Итак, визит начинался. И тут неизменно происходила дурацкая мучительная процедура, которую старуха мысленно называла «парадом дочерней привязанности». Дело в том, что в ботинках в Сашину квартиру-музей входить было строго запрещено. В доме царил культ ослепительного паркета, сиявшего отраженными огнями антикварной люстры. Так вот, проклятый этот обряд переобувания кому угодно мог вывернуть душу наизнанку. Саша «помогала маме надеть тапки»: «Мама, не наклоняйся, тебе тяжело, я сама» – она опускалась на колени и принималась стаскивать с ног старухи уродливые ортопедические ботинки. В эти минуты старуха с недоумением глядела в белесый пробор на голове пожилой и, в сущности, совершенно чужой женщины и пыталась подавить в себе раздражение. Саша тяжело

дышала, пробор на голове ее багровел от усилий. Было неловко и даже дико то, что ботинки требовалось непременно сменить на тапочки и что делала это непременно Саша...

По установившемуся молчаливому соглашению провожатый Анны Борисовны должен был минут через десять испариться. Не просто так, конечно, с бухты-баряхты – повернуться и уйти, а благовоспитанно спохватиться, озабоченно глянуть на часы – ах, мол, простите, как это я мог забыть о неотложном деле... У Севы недурно это получалось, Сева человек вообще непринужденный. А вот Матвей неважнецки себя чувствовал в роли провожатого – томился, молчал и не знал, когда и как уйти поэлегантнее. Сева – тот ладно, человек семейный, сытый, кандидат наук, а Матвея старуха всегда норовила покормить перед уходом. Говорила громко:

– Матвей, останьтесь, сейчас кормить будут. Здесь недурно насчет жратвы. Обязательно поешьте.

Да нет, она не нарочно раздражала и эпатировала дочь. Нет, не нарочно, видит Бог. Как-то так выходило, что мирный поначалу визит неизменно заканчивался Сашиной обидой. Да и обида выходила благовоспитанной и чопорной, не поймешь – чего вдруг человек замкнулся и губы поджал. Вспылила бы хоть раз, накричала, нагрубила, отрезала бы: «Отстань, мам!»

Так вот, в последний раз, в этот самый последний визит, после прекрасного уютного обеда – первое, конечно, и второе, а перед тем закусочки – грибки там, селедочка, колбаска «салями», салатик зеленый (Гримо вкусно готовила), – дочь повела ее в гостиную, усадила в кресло, и старуха совсем было наладилась всхрипнуть, но Саша сказала вдруг, зарумянившись кротким склеротическим румянцем:

– Поздравь меня, мама. Вышла наконец книга – итог моего многолетнего труда... – И сняла с полки великолепно изданный фолиант – конкурсное, вероятно, издание... Так и сказала: «итог моего многолетнего труда». И когда Саша разучилась говорить по-человечески? Петька прав был, прав, подлец: Саша умерла давным-давно, а вместо нее говорила и двигалась рыжая высушенная кукла, дохлая и благовоспитанная.

Анна Борисовна молча перелистнула несколько страниц – огромное количество цветных фотографий, каких-то карт, схем: монастыри, храмы, дворцы и мелким шрифтом текст, вероятно Сашин комментарий, – захлопнула том и сказала:

– Всю эту роскошь я не задумываясь отдала бы за тетрадочку в розовой обложке.

– За какую тетрадочку? – тихо и напряженно спросила Саша.

– А на даче, помнишь, ты рассказец сочинила, в детстве?

Дочь смотрела на нее странным взглядом – вероятно, презирала, ненавидела, а сказала вежливо и сухо:

– Ты все путаешь, мама. Я никогда ничего не сочиняла. У тебя всегда было плохо с памятью...

...Нельзя так долго жить. Выясняется, что это большое неудобство для близких, которые могут устать в ожидании твоей приличной кончины и с досады выкинуть некрасивое коленце, например умереть допрежь тебя. Нельзя так долго жить, это преступно по отношению к самому порядку вещей. Все умерли давно – далекий, сгинувший в сердцевине века муж, любимые друзья – Фаворский, Фальк, Лева Бруни... даже крошечная милая девочка, топчущая босыми ножками по некрашеному полу дачи, успела превратиться в старую чужую женщину и умереть своим чередом, а ты, корявое ископаемое, все живешь и живешь и – стыдно сказать! – мечтаешь жить еще, еще... да кто тебе позволит?

Когда-то где-то читала... кажется, в письмах, то ли Вяземского, то ли Карамзина... «Пора гасить свет, но...» Что там дальше? Забыла... Что-то прекрасное... «Пора гасить свет, но...» Нет, забыла... Смысл в том, что пора, конечно, подышать, но страшно не хочется... Еще бы годик, а то и три... И ей-богу, ей-богу, нашла бы чем заняться!

* * *

Нина спросила что-то, повторила громче.

– А? – Он поднял от книги голову.

– Кашу! Подогреть? Или так сойдет? Молча откинув голову, он рассматривал жену, как смотрят на незнакомку в вагоне метро.

– Что это за вишневое на тебе? Она пожала плечами:

– Шаль... старенькая... Ты видел раз пятьдесят.

Он смотрел, прищутив правый глаз.

– Надо написать тебя в вишневом. Кашу не грей.

Оба они были погорельцами...

Эта однокомнатная квартира досталась Нине после крушения первой, прошлой жизни, в результате виртуозного семерного обмена, который любовно выстроил бывший муж. Так увлеченный трехлетка возводит башню из кубиков.

Он был юристом, этот не слишком щепетильный человек, и знал все, что необходимо знать для приличного обустройства в жизни. Нина же знала испанский язык. Собственно, на этой почве они и расстались.

Каким-то образом квартира, в которой они прежде жили, совершив плавный круг, вернулась к бывшему мужу. Кажется, он и не выезжал оттуда, на ремонт только потратился и женился.

Весь этот загадочный обмен представлялся Нине туром старинного менуэта: роскошный трехкомнатный кооператив уплыл в туманное отдаление, там распался на две и одну, обернулся тремя коммуналками, соединился, как пара в старинном менуэте, и опять распался, и в конце концов из таинственного хитросплетения обменов выплыл к Нине этот обломок, за который она и уцепилась помертвевшими руками – согласилась по телефону, даже смотреть не ездила. Правда, позже, случайно, в часы бессонницы, мелькнула простенькая догадка о том, что, может, никакого семерного-то, виртуозного, и не было. Может, дошлый юрист просто жен разменял, как разменивают фигуры в шахматной партии: бывшая ушла в квартиру будущей, а та воцарилась в кооперативе, и все дела. Впрочем, догадки на этот счет уже не имели для Нины большого значения.

Судебный раздел имущества, без которого, по уверению мужа, нельзя было обойтись, маета угрюмо-деловых очередей, голые стены казенных кабинетов нарсуда – весь этот морг человеческой любви за три месяца домучил Нину до истощения. Она жила у двоюродной тетки Нади, бледнела и вздрагивала от телефонных звонков, перемогалась в ознобе и куталась в шаль. Не нужно ей было ничегошеньки, но в результате раздела ей достались все же узкая тахта из кабинета мужа, тумбочка под обувь и кое-что разрозненное из посуды.

Эту сиротскую долю привез сам истец – он был безупречно воспитан и не мог, конечно, допустить, чтобы женщина возилась с перевозкой. Он и его брат, загорелый теннисный юноша, тоже юрист, – там вся семья трудилась на ниве Закона, – перебрасываясь остротами, бодро втащили в дом тахту и тумбочку и даже пожелали выпить за новоселье, но у Нины не нашлось.

Оказалось, что за перевозку она должна уплатить шоферу четвертной (тут следовало подробное муторное объяснение, почему так дорого – воскресенье, шофер Федя собирался ехать с семьей за город, пришлось его уговаривать, пообещать и так далее) – у покалеченной в юридических сражениях Нины хватило только сил поинтересоваться, не должна ли она теннисному юноше за услуги грузчика.

Год прожила она здесь, словно от обморока отходила. Но однажды, нечаянно застав в зеркале свое бледное лицо на фоне облезлых, из чужой жизни обоев, очнулась, засучила

рукава и недели две возилась с квартирой: обои клеила, красила окна и двери, вбивала дюбеля для книжных полок. Она все по хозяйству умела, и ловко у нее получалось, руки были ладные.

Потом появился Матвей...

Судьба столкнула их в трамвае, кстати, на Верхней Масловке, – в тот день Матвей засиделся у Анны Борисовны, а Нина возвращалась из редакции с толстой рукописью в пасмурного цвета папке. Она висела над могучим невозмутимым дядькой в затертой тирольской шляпе с двумя эфирными перышками на боку. Дядька величественно смотрел в тряскую книгу. Нина сверху заглянула в страницу. «Ложись, Роза, – сказала мать. – Ложись и отдохни. Тебе нужно обсохнуть...»

Тут она почувствовала, что на нее пристально смотрят, обернулась и поняла, что знает этого человека, кто-то когда-то знакомил их, только – где? на спектакле? на выставке? в частном доме? Она припомнила, что занимается он не то театрами, не то кино... словом, что-то божественное. Настроение у Нины в тот день было на редкость отвратительным, возобновлять знакомство с полузабытым человеком совершенно не хотелось, но на нее смотрели, ее просто рассматривали, ожидая, по-видимому, ответного узнавания. Деваться было некуда, она чуть кивнула ему и улыбнулась.

Матвей между тем ее не узнал, просто рассматривал интересное женское лицо и рассеянно думал, что пластический строй этого лица напоминает образы готических храмов. В юности он привязывался к понравившимся людям, выключив согласие позировать. В последние годы устал.

Когда женщина кивнула ему и улыбнулась вымученной улыбкой, он тоже вдруг припомнил ее, и тоже – смутно! – какое-то мимолетное, трехлетней давности знакомство – в поликлинике? в диетической столовой?

Он стал пробираться к ней, обрадовавшись, что будет писать ее портрет и не надо долго объяснять – кто он, почему пристаёт и что ничего плохого не хочет.

Остановок пять потребовалось на выяснение, где и при каких обстоятельствах они сталкивались, пока, наконец, не нащупали Луневых, общих знакомых, семью врачей, обогревающих людей от искусства.

У Луневых по воскресеньям было нечто вроде салона, к ним «приводили». Привели как-то и Матвея, но он не засиделся там: два-три воскресенья, не больше, он вообще не любил праздных разговоров и разношерстных компаний. В одно из этих трех воскресений привели и Нину. В то время «Иностранка» публиковала роман латиноамериканского писателя в ее переводе. Месяца три о романе модно было упоминать, и Нину затаскали по всевозможным престижным домам.

Теперь Матвей понимал, почему он не сразу узнал эту женщину. Она сильно изменилась. В лице что-то... помесь потрепанной гордости и подуставшего презрения – «спасибо, сыта по горло».

– Так я буду писать вас, – полуутвердительно, полувопросительно сказал он.

Она вяло улыбнулась:

– Вот уж нет... Простите, голубчик, ни времени, ни сил, ни желания. Ой, не проехать бы мне... Буду пробираться к выходу...

– Нет, погодите, – он расстроился, – как же так! Ну что вам – жалко, что ли? Три-четыре сеанса!

– Знаю я эти три-четыре, все тридцать четыре выйдут... – Она проталкивалась к дверям.

– Постойте, я с вами...

Они вывалились с толпой из дверей трамвая.

– В кои веки встречаешь лицо, которое хочется написать, и на тебе! – хмуро сказал Матвей. – Добро, была бы какая-нибудь колхозница с рынка, а то интеллигентный человек, по выставкам наверняка бегают.

– Вот как раз колхозница вам бы не отказала, – Нина улыбнулась и взяла его под руку. – Не обижайтесь, Матвей. Может быть, после. Года через два-три.

– Может быть, когда-нибудь... – пробурчал он. Ему было скучно, возбуждение от предвкушения близкой работы пропало. Он злился. В то же время на кокетку Нина похожа не была. Бог ее знает, может, и вправду человеку не до портретов.

– Мне теперь на метро, – сказала она с виноватым лицом. Брови у нее были подвижные, взлетные, глядя на них, думалось: «по мановению».

– Ну, идемте, – он вздохнул, – провожу вас...

– Да не беспокойтесь, я сама прекрасно дойду. Время позднее, вас дома ждут.

– Нигде меня не ждут! – огрызнулся он. Вышло это фатально, и он рассмеялся. – Нет, правда. Сегодня я собрался ночевать у Кости Веревкина, в мастерской. Там диванчик есть, такой сугробистый, называется «Матвеево ложе»...

– Понятно, – сказала Нина. – В том смысле, что семейное ложе занято?

– Да, – ответил он просто, и они пошли к метро. – А разменять, знаете, никак не удастся. Уже три года... Говорят, нужно маклера искать или советоваться с опытным в этом деле человеком. У вас случаев нет в знакомых специалиста по обменам?

– О, – Нина качнула головой, – есть. Огромный специалист. Но я вас ему не отдам, в вас есть что-то симпатичное.

Привязчивый художник сел с Ниной в вагон, доехал до «Коломенской» и даже довел ее до самого подъезда, может быть, надеялся еще уговорить позировать.

Она остановилась:

– Мне жаль, что я оказалась такой неприступной моделью. Но бывают обстоятельства в жизни, когда тошнит от собственной физиономии. Какие уж там портреты!

– Я ж не предлагаю вам фото восемь на двенадцать! Что за примитивное отношение к живописи!

Вдруг она подумала, что художник наверняка голоден. Сейчас поедет через весь город в пустую мастерскую Кости Веревкина, где, надо полагать, обеда под ватной бабой ему не оставили. В конце концов, человек плелся за ней к черту на кулички, пусть за своей какой-то надобностью, но проводил же.

Надо покормить его. Только поделикатней, чтобы не обиделся.

– Вот что, Матвей, – сказала она решительно. – Существует борщ. Украинский, жирный, с чесноком. И вареное мясо из кулинарии. Я бы поджарила вам его ломтиками, с лучком...

– Скорее!! – взревел художник...

...Ели они от души – дружно, молча. Нина в тот день набегалась по редакциям и только перехватила в одном буфете убитый и сухой, как осенний лист, сырник со стаканом томатного сока, поэтому не чинясь налила и себе и Матвеем по глубокой тарелке борща, и мяса нажарила вдоволь, и даже в хлебе себе не отказала. Потом сварила крепкий тягучий кофе. И пили молча, и это молчание не тяготило, а согревало домашним кухонным теплом.

Матвей допил кофе, впервые за ужин разогнул спину, словно завершил тяжелую работу, огляделся.

Лампа с самодельным абажуром спускалась на шнуре к столу и пятнала узорными бликами сахарницу, чашки, красивые женские руки на клеенке.

Он тронул пальцем резной абажур, и тени заскользили хороводом по стенам, кухня закрутилась вокруг медленной каруселью.

– Рай земной... – тихо сказал он без улыбки.

У художника оказались блестящие, желудево-коричневые молящие глаза. Он согрелся, поел и, по всей видимости, не прочь был прикорнуть где-нибудь в этом раю, хоть на стульях, хоть на полу.

Вдруг просто и быстро рассказал свою жизнь. В тот вечер он показался Нине даже словоохотливым, что полностью опровергли дальнейшие длинные безмолвные вечера.

Но в этот вечер он согрелся и поел, он сидел в маленькой чудесной кухне, перед ним ходила лампа с самодельным хитрым абажуром, и все, к чему прикасалась эта женщина, казалось ему милым, забавным, изящным.

– Да нет, знаете ли, – говорил он быстро, бездумно передвигая по квадратам клеенки сахарницу, – она неплохой, в общем, человек, да-да, вполне приличный, совершенно нормальный хороший человек. Просто... безденежья не вынесла...

– А вы что – бездельник? – серьезно спросила Нина.

Он помолчал, обдумывая...

– Я? Нет, я – хуже... Видите ли, бездельник – это очень просто, это понятно. А вот если человек работает как вол, но... его картины не находят спроса, если этими бесполезными, на ее взгляд, холстами завалена квартира, а человек отказывается от выгодной халтуры? Тогда он хуже, чем бездельник. Он называется бранным словом – эгоист. Женщины очень любят это слово... Да нет, я понимаю ее, понимаю... Она хочет юбку, новое пальто, к морю поехать...

– Она права, – сказала Нина. – Ваша жена ведь не два раза будет жить и картин ваших не напишет, то есть под старость в прямом убытке окажется. Только не надо мне говорить про великих подруг великих людей, ладно? Не надо... Все они были несчастны... А вы живите один. Только так. Не имеете права обречь чужую жизнь на ваше сладкое творческое истязание.

– Да, – согласился он упавшим голосом, и Нине опять стало его жалко. – Да, конечно, ей было тяжело пять лет со мною... Я понимаю... Знаете, когда она... когда появился этот человек, он таксист, и... словом, он ее обеспечивает... Так вот, она даже похорошела. Правда... Я бы мог, конечно, там жить, в отдельной комнате, пока не разменяемся. Меня, собственно, никто не выгонял, но... знаете ли, когда выходишь утром на кухню – чайник вскипятить – и натыкаешься на усатого субъекта в трусах... А у меня впереди тяжелый день, я не могу начинать его с подобных эмоций... Кроме того, существует такая данность, как ребенок... Нехорошо, чтобы в этом возрасте у него двоилось в глазах от субъектов в трусах...

Он качнул пальцем абажур, и узорные тени колыхнулись и опять побежали испуганно по кругу.

– Красивая лампа. Кто здесь мастерит?

– Я, – сказала Нина.

– Нет, правда? – удивился он.

– А что, – спросила она, – не похоже? Технология проста: покупается большая круглая тыква в соседнем магазине «Овощи-фрукты», выдалбливается, высушивается, ножичком вырезаются в ней дырочки. Стоит все это художество сорок копеек. У меня вообще вся меблировка за рупь двадцать. Хотя, например, со шкафчиком – вон висит – возни больше: тут доски нужны, с помойки или ворованные, морилка нужна, а она редко бывает, ручки-замочки всякие... Что вы уставились?

– Нина, вы шутите, – проговорил он недоверчиво. – Вы хотите сказать, что и мебель – сами?..

Она усмехнулась:

– Инструменты показать? Верстачок на балконе... От папы остался. Инструменты у меня отличные. У меня отец первоклассный столяр-краснодеревщик был. Я в стружке родилась и выросла, так-то... Что, испугались?

– Вот вы какая... – Он замялся, подыскивая слово.

– Баба, – подсказала Нина. – Я баба не промах. Так что подвиньтесь, интеллигенция, на краешек. Я нигде не пропаду, как человек с руками и профессией. И на вашу богему плюю с высоты своего верстака.

Она вдруг почувствовала, что страшно устала за день и больше всего на свете хочет, чтобы художник наконец испарился, тогда бы она залезла под блаженно-горячий душ, а потом, накинув прохладный халат на распаренное, дышащее тело, растянулась бы на тахте с последней книжкой «Нового мира».

– Как бы вам на метро не опоздать, – заметила она, – двенадцать без трех...

Матвей спохватился, удивился, что просидел допоздна, и несколько мгновений цепко, в упор разглядывал лицо Нины.

– Какой портрет умирает во мне! – проговорил он торжественно-шутливо. – Соглашайтесь, Нина. Не знаю, как умолить вас. Я косноязычен. Рассказать ваше лицо я сумею только кистью.

– Глупости, – спокойно возразила она, – таких лиц двадцать штук в каждом трамвае.

Он с досадой хлопнул себя по колену:

– Ну что прикажете делать! Жениться на вас, что ли?!

– Разве что...

В прихожей, присев на корточки, он долго зашнуровывал ботинки, бормоча:

– Приеду к Косте, ключ под половиком, порисую еще... Окна зашторю... Чтоб не застукали.

– А что, разве в мастерских не разрешается на ночь оставаться?

Он поднял голову, удивившись голосу сверху, – очевидно, на какие-то мгновения забыл о Нине, мысленно уже ушел отсюда.

– Чужим, конечно, не разрешается. Я же неизвестный без соответствующего документа.

Она смотрела, как надевает он старое, с вытертым каракулевым воротником пальто, какие никто уже двадцать лет не носит, и представляла, как едет он в пустую мастерскую, шарит под пыльным половиком, нащупывая ключ, рисует при зашторенных окнах, а потом, под утро, укладывается на холмистом диванчике и накрывается вот этим старым пальто... А Костя Веревкин, обладатель мастерской, – он, конечно, приятель и свой парень, но в глубине души уверен, что делает этому человеку огромное одолжение...

Она смотрела, как долго, тщательно застегивает он пальто, аккуратно продевая в расхлябанные петли разномастные пуговицы (что за женщины их пришивали? Или сам – так же кропотливо вдевая нитку в иглу, сто раз уколовшись, – ведь наверняка он безрукий, бестолковый, нелепый), смотрела почти заворожено и вдруг сказала хрипло:

– Оставайтесь...

Он застегнул еще одну пуговицу, потоптался, ничего не понимая.

– То есть... как?! – выдавил ошеломленно. Нина прокашлялась, подняла на него глаза и сказала уже своим, спокойным и твердым голосом:

– А вот так.

– Матвей!

– Мм... мм...

– Матвей, я шестой раз к тебе...

– Сейчас, сейчас... здесь полстранички...

– Доедай свою кашку, брейся и проваливай. Ты опаздываешь.

– М... угу...

– Тебя выгонят из твоей пионерской богадельни.

Зазвонил телефон.

– Иди, – спокойно заметила она. – Это паршивец Вережкин звонит, чтобы после работы ты зашел поправить нос на портрете или ночной горшок в натюрморте.

– Ты несправедлива к Косте. За что?

– За то, что он сидит на твоей голове. Иди, иди. Я справедлива, как меч Немезиды... – и добавила ему вслед: – Пора твою голову освободить для шляпы.

Допив чай, Нина поднялась и стала складывать в мойку посуду со стола. Она нервничала. Напористость Вережкина ее раздражала. Она прислушивалась к невнятному бормотанию Матвея за дверью, бормотанию, как ей казалось, с виноватыми интонациями. Наконец Матвей появился в кухне – так и есть, смущенный и злой.

– В чем дело? – поинтересовалась Нина невинным голосом. – Вережкин просил тебя одолжить на пару месяцев жену, и ты не смог отказать?

– Оставь ты Вережкина!.. Дело довольно... щекотливое... Звонила Анна Борисовна. Просит одолжить пятьдесят рублей.

Нина включила воду и принялась за посуду. Матвей стоял спиной к ней, глядел в окно и мучился.

– Деньги вроде нужны на какого-то сапожника. Ну-у, этот, который ботинки ей специальные шьет... Начала про сапожника, потом вдруг свернула на выставку в Манеже и по этому поводу вспомнила Кончаловского...

– Просит – надо дать, – наконец проговорила Нина.

– Ты с ума сошла, с каких шишей?! – воскликнул он расстроено. – У нас до шестнадцатого осталась тридцатка!

– У тетки Нади одолжим. И что ты вопишь, как раненый заяц? Чем я виновата?

Он проглотил «раненого зайца», но утреннее равновесие перед рабочим днем, душевное равновесие, которым он так дорожил, из-за которого любил и эту кухню, и завтраки, и безобидные перепалки с Ниной, – это равновесие полетело к чертям.

– Виновата тем, что всюду изображаешь обеспеченного человека. Твои широкие жесты: как в гости идти, так пятерка летит, а то и больше. Ну, конечно, люди думают, что нам пятьдесят рублей отдать – что левым глазом моргнуть. А твоя привычка швырять на такси последнюю трешку!

Нина за его спиной не отвечала, но и греметь посудой перестала, и Матвей обернулся. Она смотрела на мужа спокойно, с любопытством даже, чужими глазами, и Матвей осекся.

Обидел. Ни за что ни про что.

– Ну, прости, – пробормотал он виновато, подошел и погладил ее напряженное плечо. Она вежливо вывернулась, сняла с крючка полотенце и стала вытирать посуду.

Нет, обидел, дурак. Жизни принялся учить. У нее один такой уже был, научил подчистую... Черт! И что за характер корявый – сначала ляпнуть, потом жалеть...

Он крепко обнял ее сзади, стиснул, прижался щекой к ее затылку и не отпускал, пока она не обмякла.

– Дубленка эта, – почти жалобно продолжал он. – Ну зачем надо было влезать в долги и покупать такую дорогую тряпку? Я мог еще десять лет ходить в своем пальто!

– А потом перелицевать и сшить прелестный костюмчик, – подхватила она, – в котором прилично на углу Бутырского рынка милостыню собирать.

– Дурацкий разговор какой-то... Видно, что денег просить не привыкла... Говорит: «Я, собственно, не у вас прошу, Матвей, у вас нет, я знаю. Прошу у вашей жены...»

– Да, старуха груба, как пьяный патологоанатом. Надеюсь, ты сказал, что живешь с женой не на разных виллах, и деньги держишь не в разных банках, и что вся наличность на хлеб-картошку хранится в старой сумочке, в шкафу, на верхней полке, рядом с майками и трусами?..

Он досадливо крякнул, помял небритый подбородок.

– Знаешь... я так растерялся, что отослал ее к тебе. Соврал, что ты в магазин ушла и будешь через час... Прости, я в этих вопросах... ну, ей-богу... Позвони сама, а? Что ты смотришь так? Ну правда, я совершенно не знал, что ответить!

– Ладно, иди брейся, детка.

– Ты сердишься?

– Брейся.

Он потоптался вокруг нее, чувствуя себя бестолочью, хотел объяснить что-то еще, но только вздохнул заморочено и пошел бриться.

Минуты две Нина сидела за столом, медленно сметая ладонью крошки с клеенки и слушая, как жужжит в ванной бритва. Тетке Наде должны уже были двести рублей. Гонорар за перевод романа издательство выплатит не раньше января. Впрочем, будут еще кое-какие рубли за внутренние рецензии. Тетка Надя даст деньги, конечно. Поканючить только сладенько: Надюша, солнышко, родной человек, выручай... Старухе надо шить ботинки, ортопедические... Выручит.

Откуда же это раздражение внутри? Стоп. Старухе нужны ботинки? Нужны. Следовательно, деньги раздобыть надо. Вот и все. Откуда же раздражение? И на кого? На себя? На старуху? На Матвея?

Он не может по-другому, твердила себе Нина, не может, физически, психологически, как там еще – не может!

Веревкин может. Веревкин вообще эквилибрист от искусства. Он умеет – враскорячку. Одной ногой упирается в нечерноземную кочку, на которой восседают эти, певцы деревни, ну как их... между собой художники называют их группировку «курочкой Рябой» (они подкармливают Веревкина заказами в худкомбинате на основании его «открытого славянского лица»), зато другой блудливой ногой нащупал недавно авангардистский ручеек, по которому в иные мастерские приплывают довольно пышные иностранные пироги. На днях хвастался Матвеем, что втерся в доверие к Леше Грязнову и Осе Малкину, а те, после выставки на Кузнецком, распродали иностранцам почти все. Леша, мол, даже жаловался Веревкину из окна своего нового лимузина, что остался в пустой мастерской... Словом, Веревкин покрутился, разнюхал что и как и вскоре уже зазвал Матвея в мастерскую – посмотреть новые свои работы, на сей раз в авангардистской манере. Матвей вернулся обескураженный и весь вечер отмалчивался. Но на этом не кончилось.

От щирого сердца Веревкин решил и Матвея сосватать на отхожий промысел. Позавчера позвонил возбужденный – готовьтесь, мол, посылаю к вам греков. Что – греков, каких греков? Да греков же, настоящих, из Греции, они владельцы художественного салона, скупают здесь картины по мастерским. Купили уже тысяч на пятьдесят. Кричал в трубку – не тушуйтесь, братцы, покажите им все периоды Матвея, особенно ранний, примитивов.

И – надо же! Оба они как-то по-дурацки воодушевились – а вдруг и в самом деле? – засуетились, бросились доставать из кладовки картины, что-то падало, рамы гремели, Матвей сквозь зубы матерился и был страшен.

Господи, и ведь не в деньгах же дело, хотя и деньги, конечно, черт бы их подрал, нужны, сколько можно стыдливо и гордо насиловать свою пресловутую духовность; хочется, да-да, хочется, чтобы лишняя пара колготок просто так, на всякий случай лежала в шкафу. Словом...

Греки ввалились втроем: он и она – супружеская чета из Афин и их московская родственница – маленькая, кряжистая, с неправдоподобным бюстом, выступающим гранитной террасой. Родственница загромождала прихожую, так что хотелось навалиться на нее плечом и задвинуть куда-нибудь в угол, как шкаф; и громко, по-гречески торопила чету коммерсантов (им еще нужно было туда-то и туда-то, родственница подробно объясняла Нине по-

русски, куда именно, Нина не слушала: она улыбалась радушной улыбкой хозяйки, так что мышцы шеи ныли).

Греки оказались шумными, свойскими, веселыми. Выяснилось к тому же, что они репатрианты и в Афинах живут только десять лет, а до этого жили в городе Самарканде, где оба работали зубными техниками. В Самарканде, да-да, вот в такой квартирке, помнишь, Вула? Вула снисходительно кивала крутым подбородком. Она была красива пожилой античной красотой. Сам владелец салона представился вполне традиционно – Маврикисом, наверное потому, что имя его – громоздкое, как трагедия Софокла, и скрежещащее слогами, как товарный состав на стыках рельс, – не запоминалось ни в какую.

В сущности, с зубными техниками все стало ясно с первой минуты. Они бросили взгляд на Матвеевы картины, выставленные на полу, на креслах, на тахте и любовно повернутые к свету, чтобы достоинства его особой вибрирующей живописи были видны с порога, и громко, по-свойски стали советовать, что и как писать, потому что вкус клиента – закон. У нас ценится реализм, втолковывали они, чтоб как на фотографии, не хуже. Но портреты идут плохо – кому они нужны? Да, у вас «психологико», но клиенту это не надо. Что идет? Лес хорошо идет, но не заснеженный, снег – это грекам не подходит, они этого не понимают. Море не ценится, уберите, моря в Греции хватает...

К тому же Маврикис похвастался, что портрет его жены Вулы заказан самому знаменитому Носатову; бедняга не подозревал, очевидно, что ни один мало-мальски приличный живописец «знаменитого» Носатова в грош не ставит.

Матвей сопел и помалкивал. Пахло лестницей.

– Матюша, – сказала Нина, не переставая широко улыбаться грекам. – Прошу тебя, покажи тот ранний натюрморт с ножом и вилкой.

– Он слабый, – огрызнулся Матвей.

– Я прошу тебя, – раздельно повторила она скалясь. Хотелось греков заткнуть.

Матвей вынес из кладовки старый натюрморт, где нож и вилка посверкивали тщательно выписанным старинным серебром – так, баловство, короткий период увлечения гиперреализмом, – и греки взвыли. Вула трясла подбородком и кричала Матвею:

– Слушай, как умеес! Так умеес – зачем вот так стал рисовать? – и кивала чуть ли не брезгливо на замечательный портрет покойного Шурки Каменецкого, где холодные синие держали психологическое напряжение пространства.

О, этот натюрморт с ножом и вилкой они готовы приобрести рублей за триста – триста пятьдесят. Раму, конечно, сделают в Афинах, там больше ста заводов работают на рамы.

Нет, сказал Матвей, натюрморт он продавать не станет – не может допустить, чтоб его имя появилось впервые за границей под слабой в живописном отношении работой. Нина улыбалась грекам и разводила руками – оригинал! То бишь автор оригинала – большой оригинал, простите за каламбур.

Напоследок греки оставили телефон некой Геры Герасимовны, которая может вывести на западных немцев, потому что Матвея, так по всему видать, будут скупать именно западные немцы, они это – и кивок на расставленные работы – любят... А Штаты скупают авангардистов. Это сейчас там модно. Вы что думаете, им нужны ваши художники – тот или этот? У них там своего авангарда навалом. Они скупают Gorbachev, pere-stroika! И продлится это год, два от силы. Так что – торопитесь. Скоро рынок насытится, и тогда ни Малкин, ни Грязнов никому из американцев не понадобятся.

В прихожей на греков еще раз нахлынул приступ самаркандской ностальгии, наверное потому, что из-за тесноты им пришлось по очереди надевать туфли (и то сказать – много места занимала родственница с гранитным бюстом), повздыхали, повспоминали зубодробительные времена. Да, многим там приходится менять профессию. Вот был в Самарканде, если помните, такой дуэт – Янис и Вацис Цепедидисы. Исполняли греческие народные песни. Но

когда они вернулись в Грецию, выяснилось, что там очень многие неплохо умеют исполнять греческие песни. Пришлось поступить в русский ресторан, теперь поют там русские народные песни, зарабатывают неплохо. Может быть, вы слышали – дуэт: Яша и Вася Цепины...

Когда за греками захлопнули дверь, с Ниной приключилась небольшая истерика, что очень напугало Матвея. Она хохотала и все задирала юбку, очевидно пытаясь обратить внимание мужа на поползшие, но вовремя прихваченные на бедре колготки.

«Жалко тебе?! – кричала она. – Жалко?! Невозможно... подпись свою... под слабой работой?! Подписал бы Сидоровым... или Шапиро!! – хохотала и повторяла: – Сидоров! Шапиро! Триста пятьдесят рублей!»

Потом успокоилась, высморкалась, попросила прощения и сказала, что Матвей кругом прав и она все в конечном счете понимает, что он – Художник, а Малкин с Грязновым дельцы от искусства, и так им и надо.

На другой день, поунижавшись в редакции, она выпросила две бездарные рукописи на рецензию, потому что платили там прилично и за все про все набежало бы рублей восемьдесят.

...Из окна видно было, как на остановке полная свежей утренней ярости толпа набросилась на подъехавший автобус. Особенно напирала бодрая бабка в кроссовках.

«Всех раскидала, – подумала Нина, – старая-старая, а тоже – продукт времени, довольно несвежий продукт».

Небо между тем уже налилось той особенною эмалево-сгущенной синевою, какая бывает солнечной осенью, когда деревья уже пусты и строги и дрожащий воздух пуст и необъятен.

К следующему автобусу прибило новой толпы, вскормленной бытовой остервенелостью. Бабка уехала, только кроссовки мелькнули на подножке.

– Слушай, а какую, собственно, роль играет при старухе этот неюный мальчик?

Нина глядела в зеркало на бреющегося мужа. Запрокинув голову, тот водил по кадыку бритвой – горбатым урчащим зверьком – и смотрел на Нину, полуприкрыв веки.

– Они старинные приятели...

– То есть?

– Ну... очень давно живут вместе.

– То есть! – с нажимом повторила она. Матвей выключил бритву.

– Что ты насторожилась, как участковый инспектор? – сказал он. – Разве не могут люди быть просто привязаны друг к другу?

– Могут, отчего же... Например, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, – заметила она насмешливо. – Но что-то я не разглядела особой привязанности.

– Ошибаешься. В их отношениях все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Он, конечно, очень несдержан, почти истеричен, но и Анна Борисовна хороший фрукт. Ее ведь тоже нелегко выносить. А Петя, между прочим, за прачку там и за кухарку... У меня есть свежая рубашка?

– Разумеется.

Как быстро привык он к свежим рубашкам через день, подумала она.

– А где?

– А вон, дитя мое, направо комната, видишь? Как войдешь – налево шкаф. Откроешь дверцы – там на перекладине деревяшки висят, вешалки называются. – В который раз Нину возмутила его нездешность, непривязанность к месту жизни, то, что, сотни раз открывая шкаф, он так и не помнит, где висят его рубашки, – словом, то, на что она давно уже дала себе слово не обращать внимания. – Смотри платье мое не надень. Ботиночки зашнуровать?

– Ну что ты сердишься, – бормотал он, одеваясь. – Я не могу держать в голове весь этот бытовой мусор... И пожалуйста, милый, если позвонит Костя, не груби ему, ладно? Прошу тебя. Я ведь ему так обязан. Пользовался мастерской.

– Это он тобою пользовался и с успехом продолжает пользоваться.

– Хорошо. Только не груби ему.

Нина захлопнула за мужем дверь. Несколько мгновений слышно было, как, высвистывая небезупречный мотивчик, он спускается по лестнице. Уже забыл про все. Наверное, решает, как совместить в картине синее с желтым.

Она с силой разогнулась, заломив руки за спину, шумно выдохнула и побрела в комнату. Там она растянулась в кресле и, сняв телефонную трубку, медленно набрала номер...

– Алле-у?! – Голос у старухи бодрый, если не сказать – агрессивно бодрый.

– Здравствуйте, Анна Борисовна. Это Нина.

– Какая Нина?

Привет... Ну вот и объяснение: тебя числят неким агрегатом, предназначенным для благоустройства быта гениального художника. Тебе необязательно иметь имя, но уж фактуру, будь добра, обеспечить. Ибо – модель. Обязательно.

– Жена Матвея, – сдержанно объяснила Нина. – Ведь вы звонили?

– А? Да-да, здравствуйте, милая! Старуха совсем выжила из ума! Никудышная, знаете ли, память стала... Старухе пора на свалку... Да... Так что вы хотели?

– Но... Анна Борисовна, вы, кажется, только что звонили, – недоуменно проговорила она, – по поводу денег.

– Ах, ну да! А что, Матвей уже ушел?

– Да, он...

– Погодите, не перебивайте, а то я порядок мыслей растеряю. Вы знаете, что Матвей гений?

Нина вздохнула:

– Знаю... Анна Борисовна, насчет денег...

– Да погодите, не перебивайте старуху, ради Бога, а то я совсем собоюсь... Матвей, знаете ли, большой художник. Причем он одинаково силен в рисунке и в живописи. В своей бесконечной жизни я кое-кого из художников встречала...

Нина взглянула на часы, прикрыла глаза и вытянула ноги. «Сейчас за свои деньги я выслушаю небольшую лекцию», – подумала она, дождалась коротенькой паузы, когда старуха подыскивала сравнение красного в «Красной мебели» Фалька с красным в живописи Руо, и вежливо вклинилась:

– А деньги я завезу сегодня, Анна Борисовна.

– Да погодите с этими дурацкими деньгами, что вы привязались с ними, вот я с мысли сбилась... О чем я? О Фальке... Вы слушайте, слушайте, вам это полезно, милая, ведь в живописи вы наверняка ничего не смыслите, как вся ваша литературная братия...

«Ну, спасибо! – изумленно подумала Нина, не слушая больше старуху. – Да, этого Петю стоит пожалеть...» – Она еще помолчала минут пять в красноречивую трубку. Можно было бы, конечно, послать великую каргу к чертям, да только ботинки ей все равно шить нужно. Мда-а... «Ну, довольно, – устало подумала она, – сделаем небольшой перекур», – положила воркующую трубку на рычаг, потянулась к пачке сигарет и закурила.

И тут у самого локтя опять каркнул телефон. Нина вздрогнула и резко сорвала с рычага трубку.

– Ну?! – крикнула она.

– Это я, Нинуль, – сказал приятный тенор Кости Веревкина. – А что, старый уже ушел?

– Ушел старый.

– Жаль... Я хотел, чтоб он забежал сегодня... Что-то рука у меня на место не встает.

– Обратись к костоправу. Костя хмыкнул – оценил юмор.

– Лучший костоправ – мой старый Матвей. – Его мягчайший тенор окрасился лирическими тонами. – Только он вправит руку на портрете Жоглина, солиста-виолончелиста Владимирской филармонии...

– Красиво интонируешь...

– А?

– Голос, говорю, у тебя богат модуляциями. Это по поводу солиста. – Она чувствовала, как сгущается внутри презрение к бездарному хваткому Косте. – А насчет частей тела, то есть вправления рук, ног, а также мозгов, – слушай внимательно: мне не нравится, что в наше прекрасное время демократизации общества происходит эксплуатация человека человеком.

– Нинуль, это что-то из политэкономии... Раздражение сгустилось до ненависти грозового разряда.

– Ну, короче, – сказала она отрывисто, понимая, что не стоило бы, не стоило бы влезать в дела мужа, но не в силах уже остановиться. – Отныне со своими солистами, дантистами и бывшими чекистами сражайся сам. За диванчик Матвей отработал сполна, поэтому не благодарим. – И поскольку Веревкин потрясенно молчал, не в силах подать ни звука своим обаятельным тенором, она добавила мягче, почти сострадательно: – Научись рисовать, Костя. Это может тебе пригодиться в жизни.

Опустив трубку, Нина несколько минут сидела, хмуро затягиваясь сигаретой и размышляя, чем может обернуться для Матвея неожиданный конец веревкинских игр... Потом подняла глаза на автопортрет мужа, где он изобразил себя в кахетинке, одолженной у Гиви Гохария, и сказала твердо:

– А теперь мы купим тебе шляпу...

* * *

Вход в мастерские скульпторов со двора. Ступени к высокому крыльцу; на дверях мелом написано «Мастерские № 5, 6». Ступени щербатые, грязные, мшистые, перила рассохлись, краска на двери облезла давным-давно. Центр Москвы при всем при этом...

Все-таки они как-то упоенно предаются свинству, эти художники и скульпторы. Ну, мастерская, конечно, рабочий беспорядок, не лаковые паркетные, разумеется, но входную дверь отчего не покрасить раз в двадцать лет? Ну да, оне художники, а не маляра...

Нина поднялась на крыльцо, толкнула наружную дверь, вошла в сырой затхлый тамбур и позвонила в дверь, такую же облезлую и сиротскую, словно и ее поливали дожди и обметали снега... Ладно, уйми свою бушующую наследственность и желание немедленно покрасить и подправить их убогий быт. Им хорошо так. Они привыкли.

Дверь открыл Петя, с сигаретой, закушенной в углу рта, и потому со странным, оскаленным лицом. Нина взглянула на него и от неожиданности даже отпрянула: как в дурном сне, над бровью у Петра Авдеевича она увидела нестертый плевок. Воображение ее взметнулось, как возбужденный язык огня, тут она враз трагедию сочинила – вопль, грохот падающего мольберта, скульптурный молоток, труп старухи на полу... Доигралась старуха!.. То есть не то чтобы она буквально это предположила, а так, вообразила на секунду картинку. Плевков, так к месту сидящий на физиономии Петра Авдеевича, ее не то чтобы испугал, но смутил.

– Нина! – Петя сменил яростное выражение лица на приветливое. – Рад видеть вас. Проходите в мастерскую, там Анна Борисовна с Сашей чай распивают. Присоединяйтесь... Анна Борисовна! – крикнул он по коридору. – Нина к вам!

И все это с нестертым плевком над бровью.

– Простите уж, не помогаю вам раздеться, – он воздел руки в мыльной пене, – у меня сегодня постирушка...

Объяснилось. Чистоплотный молодой человек, питающий слабость к свежим сорочкам, стирает сам, копошится помаленьку над тазом, бедняга, – руки в мыле, сгусток пены в лицо отлетел...

Нина перевела дух и разделась. Похоже, сегодня здесь покой и благолепие.

Из мастерской доносились препирающиеся голоса.

– Я тебе говорю – это пара пустяков!

– Анна Борисовна, жить хочется. Мне только двадцать четыре.

– Александр, ты ужасающий болван! Это гипс, гипс, а не мрамор!

– Ладно, пусть Петя поможет.

– Петя стирает, значит, он разъярен, как дикая прачка. И не втрапляй его в бытовые мелочи.

– Ничего себе мелочи – бюст Добролюбова с антресолей снимать!

– Что ты торгуешься, как носильщик на вокзале!

Нина огляделась, куда бы повесить пальто, и, не найдя вешалки, перекинула его через руку гипсовой Норы, а свою синюю широкополую шляпу закинула той на голову, отчего пресная полуулыбка Норы вмиг стала пошловато-игривой.

Из ванной, на ходу вытирая о фартук руки, высочил Петя.

– Нина! Чуть не забыл, – он понизил голос, – Анна Борисовна сказала, что вы любезно согласились одолжить нам денег...

«Нам», – отметила Нина, глядя на его суetyающиеся мокрые руки...

– Вы нас не просто выручили, вы нас спасли!

– Пустяки, Петр Авдеевич.

– Что это вы меня отчеством пугаете? Петя, просто Петя.

Как-то он странно оживлен. Суется...

– Так вот, целесообразно дать их мне, – Петя усмехнулся. – Анна Борисовна в пылу разговора обязательно запропастит деньги где-нибудь в самом неподходящем месте. А вечером сегодня платить.

Нина молча достала из сумки пять легких, словно отутюженных десятков и протянула Пете. Он взял влажными руками и, неожиданно склонившись, припал губами к ее руке.

– Спасительница, – проговорил он тоном проигравшегося офицера, которому удалось вымолить денег у богатой тетушки.

Странно, подумала Нина, он так заботится о ботинках старухи? Нет, очень подозрительный тип.

Она заглянула в мастерскую и невольно охнула. На последней ступени стремянки стоял Саша – грузный, с остервенелым багровым лицом – и, постанывая от усилий, двигал на себя гипсовый бюст Добролюбова.

– Что вы делаете?! – крикнула Нина, подавшись к нему. – Вы убьетесь!

– Отой-ди-те! – простонал Саша, обхватив бюст и нашаривая ногою следующую вниз ступеньку.

– Да, голубчик, не мельтешились под ногами, – добродушно заметила старуха, помещивая в стакане ложкой. – Александр сколочен неплохо, ему полезны физические упражнения.

Наконец, ступень за ступенью, Саша сполз по стремянке. Это выглядело отработанным цирковым номером. Свалив в угол бюст Добролюбова, он упал на стул и, закинув голову, минуты три шумно отдувался.

– Ноги дрожат, – пробормотал он слабым голосом.

– Молодец, – старуха с удовлетворением поглядывала на освободившиеся антресоли. – А теперь неплохо бы закинуть туда вон ту обнаженную.

– Нет уж, спасибо! – возмутился Саша.

– Да она вдвое легче, ей-богу!

– Пусть Петя ставит!

– Что ты заладил: «Петя, Петя!» Петр Авдеевич отважен, как корабельная крыса... А ты моя надежда и опора, хоть и болван порядочный.

– Знаете что!

«А ведь можно было и не заходить сюда, – подумала Нина, слушая их перебранку, – отдала деньги, и ладно...»

Она уже собиралась встать и уйти, но неожиданно это сделал Саша. Нина даже прослушала, какая именно реплика старухи вывела его из себя окончательно.

Массивный, с вспотевшим взволнованным лицом, Саша вскочил и, топая, бросился мимо Нины к дверям, на ходу бормоча что-то отрывистое, вроде «невыносимо... кто угодно... всякому терпению...».

В коридоре он рванул с гвоздя пальто, так что затрещало, и захлопали двери – сначала коридорная, потом входная, потом все затихло, и тогда стало слышно, как в ванной льется вода и насвистывает Петя.

Нина молчала.

Анна Борисовна потянулась к чайнику и, наливая себе чай, сказала с явным удовольствием:

– Сашка – нежнейшая душа. Не смотрите, что рожа совершенно кирпичная.

Нина, которой Сашино лицо вовсе не показалось кирпичной рожей, сухо заметила:

– Мне кажется, он оскорблен и не придет больше.

– Чепуха! – весело отозвалась старуха. – Завтра и придет... Извиняться не будет, врать не стану, он дурно воспитан. Сделает вид, что забежал на минуту – поднять на антресоли обнаженную. Потом останется чай пить и альбомы смотреть и уйдет во втором часу ночи... Он меня жалеет, он большой добряк... Мои друзья вообще стесняются воздать мне должное за все обиды, – продолжала она со смешком. – Вероятно, им кажется, что старуха вот-вот скопытится, и тогда будет страшно неловко. – Она лукаво сверкнула черными живыми глазами. – А у меня как раз планы пожить еще чуток... лет эдак... десять! Как вы посмотрите на старую стерву?

Нина вежливо отмолчалась, не зная, что на это ответить. В мастерскую заглянул Петя – все с мокрыми руками, упаренный. Видимо, он почувствовал некоторое напряжение и насторожился:

– А где Саша?

– Умчался, – невозмутимо ответила Анна Борисовна. – Дела у него. Должно быть, амурные.

Волновался так, что лыка не вязал... А ты что, еще не все лохани перемыл?

– Там кое-что прополоснуть осталось... Похоже, переступив порог мастерской, он становился хмуро-величавым, во всяком случае, от коридорной его суетливости и следа не осталось. Между прочим, подумала Нина, могли бы чаю предложить.

– Отчего вы Нину чаем не поите? – спросил Петя.

– Да! Нина, милая, здесь ведь у нас без пируэтов. Каждый ухаживает за собой, ну... и за мною немножко. Вот, кстати, подайте-ка сыр и масло. А может, вы и бутерброд смастерите?... Благодарю, очень ловко у вас выходит. У меня, например, бутерброды всегда падали маслом вниз, гостям на костюмы... Я всю жизнь была чудовищно бестолкова в хозяйстве... Петя, что ты уставился на окно с глубокомысленным видом?

Не вынимая изо рта изжеванный окурок, Петя пояснил шепеляво:

– Гляжу, щели пора конопатить. Морозы на носу...

– В этом доме прошу о носе не упоминать! – воскликнула Анна Борисовна, подалась к Нине и продолжала доверительно: – Знаете, однажды я шла с женихом по улице. Это был весенний упоительный день, незадолго перед свадьбой. Я шла с женихом, вы понимаете меня? И мне было смехотворное количество лет, мелочь какая-то, не то девятнадцать, не то двадцать... Я была очень глупа и очень счастлива. И вдруг какой-то паршивец мальчишка, пробегая мимо, крикнул: «Нос на двоих рос!» И все померкло. Все для меня померкло.

– Зато с того дня вы сильно поумнели, – спокойно и насмешливо заметил Петя. Он бросил окурок в помойное ведро под лестницей, вздохнул устало: – Ладно, пойду достираю... А вы, Нина, разговорите Анну Борисовну, она вам много чего расскажет...

Едва Петя вышел, Анна Борисовна наклонилась к Нине и заговорила негромко, торопясь и поглядывая на дверь:

– Я ведь ждала вас, ждала, да. Вы представляетесь мне вполне толковым человеком. Постойте, только не перебивайте. Нужен совет. Нужны нормальные мозги. Мои никуда не годятся, и не только потому, что я старая калоша, а потому, что всю жизнь была страшной идиоткой в житейских делах... Вот что, Нина, скажите честно – вы соображаете что-нибудь в законах?

Нина несколько смешалась от неожиданного напора старухи. Та энергично трясла седыми кудрями, брызгала слюной и сжимала Нинину руку своей огромной теплой ладонью, словно ком глины мяла, категорично при этом отодвинув в сторону чашку, из которой Нине так и не удалось отхлебнуть ни глотка.

– Какие законы вы имеете в виду? – осторожно спросила она.

– Господи! Ну не законы искусства, разумеется. Речь идет о собачьей чуши, которая нарочно изобретена для того, чтобы отравлять людям существование, – прописка, ЖЭК, родственные отношения и прочая галиматья.

– Знаете что, – сказала Нина. – Я тороплюсь, поэтому сразу: чья прописка и какие отношения?

– Ага, вот видите, я не ошиблась – вы энергичный человек. Сразу быка за рога, – заметила старуха. – Хорошо, я расскажу, но предупреждаю: как только входит Петя, я перевожу разговор на Достоевского.

– Почему на Достоевского?

– Ну, на Чехова.

– Но почему? – с нажимом спросила Нина.

– Фу, какая липучка! – с досадой воскликнула старуха. – Потому что речь идет о Петинской судьбе. А он щепетилен, подозрителен и не желает, чтобы я пеклась о его пользе. Вообще Петя умный человек, но болван.

– Понятно, – сказала Нина. – Дальше.

– Словом, я хочу прописать Петю к себе, в мою комнату на Садовой. С тем чтобы после моей величественной кончины он не оказался выброшенным на улицу. Если я сейчас не позабочусь об этом, сам он никогда о себе не позаботится.

Ой ли, подумала Нина, по-моему, щепетильный Петя уютно пристроился под твоим крылышком.

– А где сейчас прописан Петр Авдеевич? – спросила она.

– Нигде, – неохотно ответила старуха.

– Так не бывает.

– Нет, ну это совершенно не должно вас касаться! – воскликнула Анна Борисовна.

– Хорошо, – кротко сказала Нина и поднялась, чтоб уходить.

– Постойте, ну что вы вскидываетесь?

– Анна Борисовна, – спокойно проговорила Нина, сосредоточенно снимая белую ниточку с рукава своего свитера. – Я не Петя, не Саша и даже не Матвей. Не имею чести

состоять в ваших друзьях и не знаю, получится ли это когда-нибудь, потому что вежливое обращение – одна из моих больших слабостей.

– Браво! – воскликнула старуха. – Я так и думала, что вы та еще штучка!

– Если вы хотите получить хоть какой-то совет, то сейчас же, кратко и точно выложите все обстоятельства дела. Если же вы оберегаете покой Петра Авдеевича, то незачем морочить мне голову.

– Ладно, – старуха усмехнулась. – Садитесь. Будем считать, что вы крепкой рукой взяли меня за шиворот... Когда-то у Пети некоторым образом... скажем так – была жена. Там, в коммуналке, он и прописан.

– Фиктивный брак, – спокойно подсказала Нина.

– Нет! Нет! – испуганно вскрикнула старуха.

– Я ухожу.

– Да, – сдалась старуха. – Только умоляю! А что было делать? Надо же было как-то остаться в Москве после института... А эта женщина...

– Ну, дальше! Они разведены?

– Нет. Но... нынче этой мерзавке понадобилось выходить замуж, и она подала на развод.

Она мерзавка не больше, чем он, подумала Нина, а вслух сказала:

– Стоп. Все ясно. Она разведется и выпишет его. Причем сделать это будет легко, стоит только доказать, что он не жил там никогда.

– Ну вот, видите, у вас и в самом деле неплохие мозги, – удовлетворенно заметила старуха.

– Спасибо. Так вот, насколько я разбираюсь в законах, с опекуном у вас ничего не выйдет. Ведь вы это имели в виду?

– Да, но какого дьявола?! – вскрикнула старуха. – Почему, хотела бы я знать?!

– Потому что Петя вам не сын, не внук, не сват и не брат. Он человек с улицы.

– Что!.. Как вы... смеете?! Петр Авдеевич мой старый друг! Он... он больше, чем внук, брат и сын, вместе взятые, он!.. Как вы смели так, походя, свысока... ничего не понимая в нем!

– Подождите. Будет вам лаву изрыгать, – Нина поморщилась. – Я объясняю вам ситуацию с точки зрения соответствующих учреждений. Надо попробовать...

Тут в ванной грохнул пустой таз, хлопнула дверь, прошаркали шаги в коридоре, и вошел Петя.

– Да. Так что по этому поводу говорил Достоевский? – спросила Нина, со спокойным интересом глядя на взъерошенную гневную старуху. – Вы и его знали?

Анна Борисовна сверкнула глазами на Петю, а тот, разломив бублик и запихнув кусок за щеку так, что она натянулась, словно изнутри приставили дуло револьвера, сказал:

– И Достоевского, и Наполеона, и князя Игоря. – Плюхнулся в хлипкое кресло с продранной обивкой и, дожевывая бублик, неожиданно пустился ругать перевод романа в «Неве», напирая на то, что хорошего перевода ждать и не приходится, поскольку дельных переводчиков нынче нет.

Это в мой огород, поняла Нина, чем-то я его раздражаю. Минут десять она выслушивала его желчные рассуждения с доброжелательным лицом, внимательно глядя в убегающие от встречного взгляда глаза, потом спросила вежливо:

– А вы какими языками владеете, Петр Авдеевич?

– А я, собственно, русским языком владею, – живо и нервно ответил он. – И, смею вас уверить, этого достаточно, чтобы понять, как переведен роман – хорошо или дурно.

Нина так же вежливо промолчала, а Петя еще долго продолжал говорить – нервно, с непонятной обидой неизвестно на кого, и чем дольше говорил Петя, тем острее чувство-

вал насмешку в ее вежливом доброжелательном взгляде, а вопрос, заданный ею вскользь и невинно, чувствовал затылком, как чувствуешь ненадежно повешенную тяжелую полку над головой. И от этого он распалялся и нервничал все сильнее, и все сильнее ощущалась возникавшая исподволь неловкость.

Он типичный демагог, думала Нина, это его призвание, и все человечество сильно провинилось перед ним. Переводчики виноваты, что переводят, скульпторы – что лепят, актеры – что играют, архитекторы – что строят... Вот напасть – как человек ничего не умеет, так во всем понимает и всех учит...

...Молчит, не снисходит до спора, изящный производитель духовных ценностей, думал он раздраженно. Брезгует плебеем – такая благополучная, гладкая, воспитанная... Таких выращивают в спецшколах папы-профессора и мамы-кандидатки... А мы ведь одного поколения... Как раз когда я, голодный и не присмотренный, ждал мать с ночного дежурства на телефонной станции, эту ухоженную девочку домработница везла на урок испанского. Это же видно, это прет из каждого ее жеста – элитарность чертова. Должно быть, самое сильное потрясение в жизни – когда на третьем курсе в университете вытащили кошелек из сумочки...

Старуха выжидала. Она хотела, чтобы Петя выкипел наконец до донышка, как чайник, забытый на плите, и ушел восвояси, дал договорить.

Ведь наверняка эта Нина – баба цепкая и толковая, должно быть, и ходы знает, а может, и знакомства имеет.

Чего он не уходит? Ведь собирался же с утра куда-то! Нет, все же ему нравится эта черненькая, только не признается никогда. Развалился в кресле и несет ахинею, поразить кого-то хочет. Может, и поразит...

А Петя все сидел и рассуждал – напористо и желчно, уже и второй бублик сжевал, а все не мог выговориться, хотя Нина и слушать перестала, смотрела в окно с подчеркнуто скучающим видом.

Неизвестно, сколько еще продолжался бы этот тягостный для всех монолог, но Петя вдруг наткнулся взглядом на бюст Добролюбова в углу. Он умолк на полуслове, выпрямился в кресле и несколько секунд только губами пытался выговорить:

– Кто?!

Вид у него при этом был такой разъяренный, что Анна Борисовна заметно струхнула.

– Да вот, мы с Ниной поднадужились, – заискивающе-шутливо сказала она.

– Слушайте, вы же... Я же запретил! Вы не соображаете, безмозглый человек!.. А если бы парень загремел с пятиметровой высоты в обнимку с гипсовым классиком?! Что б вы его матери сказали – что всем, кроме вас, жить необязательно?! Вы сели ему на голову, вы... вы пользуетесь его безотказной добротой! О, я себе представляю, как Саша лежал бы на цементном полу распластаный, а эта старая эгоистка звонила бы какому-нибудь Севе, потому что Саша все равно мертвый, а Добролюбова все равно нужно снять с антресолей!

Нина поднялась и направилась к дверям. На сегодня она была сыта по горло творческой жизнью обитателей мастерской.

– Пойдите, Нина, куда же вы! – всполошилась старуха. – Петя, ты, кажется, уходить собирался, так проваливай! У нас тут важный разговор.

– К сожалению, я тороплюсь, Анна Борисовна, – от дверей сухо ответила Нина. – А что касается вашего дела, тут надо попробовать подключить Союз художников. Пусть соорудят внушительную бумагу – ходатайство, с перечислением всех ваших заслуг перед отечественным искусством, с просьбой помочь вашему делу. Пусть упомянут, что вы старейший член МОСХа. Может, что-то и выгорит.

И прежде чем выйти, добавила:

– Деньги я отдала Петру Авдеевичу.

Два достойных друг друга комедианта, думала она раздраженно. Страсти-мордасти. Оба жить не могут без ежедневных воплей и убийств. Привыкли. Климат такой, среда обитания... Однако как верно подобрала судьба этих людей, как точно притерла друг к другу, пригнала, словно хороший столяр. Парочка на загляденье, даром что родились в разных столетях...

Снимая пальто с руки гипсовой Норы, она услышала, как после тяжелой паузы в мастерской заговорил Петя:

– Славненько... Вы, кажется, опять занялись устройством моей жизни? Причем собрали всенародное вече. Вы зря суетитесь. Мне не нужна вожаденная московская прописка. Я возвращаюсь домой.

– Когда?! – заполошно вскрикнула старуха.

– На днях, – жестко и тихо ответил он.

И сразу выскочил с разгоряченным лицом, выхватил у Нины ее пальто и подчеркнуто услужливо, с дурацким каким-то пришаркиванием ногою, развернул.

– Дальновидный человек, – проговорил он полушепотом, надевая пальто на плечи женщины, – ведь вы не случайно уведомили Анну Борисовну, что отдали деньги мне?

Нина обернулась, удивленно взглянула в его лицо с подергивающимся веком.

– Не случайно, – повторил он. – Так вот, она забудет о них все равно. А я их промотаю. Пропью с большим моим удовольствием. Плакали ваши денежки!

Нина молча продолжала смотреть на его дергающееся веко. Ты хочешь закатить мне сцену, голубчик. Не на ту напал.

Так же молча она достала из карманов перчатки, натянула их, тесные, тщательно, не торопясь.

– Петр Авдеевич, – наконец сказала она доброжелательно. – Пристрастие к выяснению отношений – один из тяжелых пороков российской интеллигенции.

Отвернулась и открыла дверь в сырые колеблющиеся сумерки. Мгновение ее художный черный силуэт стоял в проеме двери, затем, по-женски осторожно нащупывая высокими каблучками ступень за ступенью, Нина спустилась и пошла по двору не оглядываясь.

Не обернется? Нет, отстукивает каблучками пространство – дальше, дальше... Много-точие.

Интересно – была ли у этой женщины в жизни страсть? Та самая, что любое прекрасное воспитание разносит в клочья? Не похоже. Он попробовал представить ее в постели, но ничего не получалось: Нина лежала в широкополой своей шляпе, торчали из-под одеяла каблуки сапог...

Так прекрасно воспитана, что и брезгливой гримаски не оставила. Все подобрала – презрительные губы, вежливые брови – и унесла с собой. Пустота... На углу дома в железном обруче под колпачком свисает желтым лимоном тусклая лампочка...

Он следил за Ниной, пока она не завернула к остановке троллейбуса, потом запер входную дверь и зашел в мастерскую.

Старуха сидела нахохлившись, свесив с колен огромные кисти рук. Услышав, как вошел Петя, угрюмо сказала:

– Я подозревала, что эта баба стерва, но не думала, что она так гордо носит свою стервозность. Как орден святого Владимира.

– А что, она не пришла в восторг от вашего хамства? – безразличным тоном спросил Петя и, не дав старухе ответить, сказал: – И сколько раз я просил отдавать мне в стирку все ваши шмотки. Посмотрите на свое платье, ведь к вам люди приходят! Сейчас поглажу чистый халат, попробуйте не переодеться!

– Ты маньяк, мальчик. Ты жалкая прачка, – ответила она презрительно. – Это платье можно носить еще два года без ущерба для окружающих.

Он отмахнулся и поплелся в ванную снимать с крендельной батареи необъятный старухин халат. Потом, перекинув его через гладильную доску, долго, уныло катал допотопный уют по зеленым полам, тяжело свисающим с доски, как занавес передвижного полкового театра...

...Нина раскинула на тахте ночную сорочку, разделась.

– Постой минутку, – сказал за спиною Матвей, и слышно стало, как по бумаге заскользил карандаш – широкими конькобежными линиями. – Руку подними.

– Вот так?

– Нет, кулак. Вроде замахнулась... М... Угу... Стой...

Прошли минута, две, пять... Кожу на плечах и груди усеяли пупырышки.

– Мне холодно.

Молчание и карандашный шорох.

– Матвей! Я замерзла!

– М-м? Да, милый, сейчас... Все.

Она накинула сорочку и дрожа нырнула под одеяло – согреться. Матвей сидел в кресле и, не поднимая головы, рисовал что-то на листе бумаги, приклепленном к планшету.

– Что ты рисовал сейчас? – спросила она, по-детски выглядывая из-под одеяла.

– Да так... нужна мужская спина для композиции.

– Мужская?!

Он хмыкнул:

– Ну да... Неважно... Мне только – движение мускулов.

– Мускулов?! – Лицо у нее стало оскорбленным. – Ты с ума сошел, какие у меня мускулы!

Он засмеялся и не ответил. Нина уже привыкла к этой раздражающей ее манере. Он часто забывал ответить, просто не успевал – погружался в собственные размышления. Так вынырнувший из воды пловец успевает только воздуху плотнуть, а разглядеть, что там на берегу, ему некогда.

Вот так он может сидеть бесконечно, иногда отводя голову назад и чуть вбок и смахивая ребром ладони ластиковые крошки с листа. Можно уснуть, проснуться, умереть, наконец, – он, разумеется, поднимет голову и взглянет, но – издали, со дна своего колодца.

– А ведь старуха просто любит его, – сказала Нина вслух, чтобы проверить, слышат ее или нет.

Несколько мгновений Матвей молчал, потом смахнул с листа резиновые крошки.

– Да.

– Что – да?! – вспылила она. – Ты же не слышишь, что я говорю.

Он отложил планшет и посмотрел на жену со спокойным удивлением:

– Почему не слышу, милый? Я еще не оглох. Да, Анна Борисовна любит Петю.

Она смутилась. И оттого, что Матвей спокойно включился в этот нелепый разговор, и оттого, что он неожиданно понял ее. Да понял ли?

– Нет. Я имею в виду – она любит его. Как обыкновенная баба. Понимаешь? Влюблена.

И опять Матвей качнул головой и, вздохнув, сказал:

– Да... Что поделаешь...

Нина села на постели. Сделанное ею открытие, так неожиданно подтвержденное Матвеем, взволновало ее.

– И... ты давно это понял?

– Давно... Лет шесть назад они разругались вдрызг, и Петя сбежал от нее в мастерскую – тогда еще они жили в комнате на Садовой-Каретной. Недели три она держалась довольно мужественно, только заморочила нас совсем – туда ее вези, сюда ее проводи. Потом через кого-то из знакомых узнала, что Петя в очередной раз ушел с фабрики, нуждается, трешки

по соседям одалживает. Ну и... попросила меня поехать с нею, дать Пете денег... В такси, помню, она меня замучила: как я должен войти, что сказать, и смотреть все время на Петю – что в его лице отразится, и ни в коем случае не проговориться, что деньги от нее... Словом, коридоры мадридского двора... Я, конечно, провалил всю операцию.

– Нашла кому поручать...

– Да... Она осталась ждать в такси и так волновалась, на ней просто лица не было... А я увидел Петю, и на меня вдруг такая усталость накатилась, такое сожаление. Чем, думаю, я вот в эту минуту занимаюсь? Бог мой, думаю, жизнь так коротка, мне работать нужно, а я в какие-то конспиративные игры влез. Он спросил, от кого сотня, я сказал – от Анны Борисовны.

– А он?

– Забегал по мастерской: бледный, губы трясутся, бормочет: «Я отвечу, ничего, я отвечу». Что – отвечу, кому – отвечу?... Еще что-то говорил, про унижение, – ей мало его унижить словами, она еще и деньгами...

– Не взял? Матвей усмехнулся:

– Взял. Схватил... Пачку пополам перегнул, сунул в задний карман джинсов, и: «Ничего, я отвечу, передай – я отвечу...» Ну, я повернулся и ушел... В такси Анна Борисовна выслушала меня со съезженным лицом, обозвала болваном, но я не обиделся – видел, что с ней творится...

– Он-то ее ненавидит, – убежденно проговорила Нина. – Ждет не дожидается, чтобы старуха поскорей на тот свет отправилась. Я думаю, он идейный вдохновитель махинации с опекуном. А иначе – что б ему терпеть ее страшный характер!

– Боюсь, что там не все так обыкновенно, Нина.

– Оставь, ради Бога! История простенькая и далеко не новая... Ты ложиться собираешься?

– Да, только Косте позвоню...

Матвей сложил листы в стопку на угол стола и пошел к телефону. Нина приподнялась на локте и сказала ему в спину:

– Не звони.

– А что?

– Не звони...

Он вернулся, сел на постель рядом с Ниной:

– Ты говорила с Костей?

Она натянула на плечо одеяло, словно боясь, что Матвей сгоряча огреет ее.

– Обидела, наругала? Порвала все, да?

– Матюша...

– Елки-палки... – проговорил он удивленно и беспомощно, не глядя на нее. – Мы дружили двадцать лет...

Она села рывком, заговорила быстро, возбужденно:

– Какой же это друг, Матвей? Двадцать лет он жил за счет твоего таланта!

– Ну и что?

– И у него хватало совести...

– Послушай, – перебил он так же тихо, разглядывая ее, как, бывает, смотришь на своего болеющего ребенка – тревожным, ощупывающим взглядом. – Почему ты решила, что лучше всех знаешь, как выглядит дружба, любовь, ненависть? Почему?

И оттого, что в голосе мужа не слышно было ни гнева, ни раздражения, а одно только беспомощное удивление, Нина чувствовала, что не в силах ни возразить ему, ни оправдаться.

Матвей унес телефон в прихожую, и долго за прикрытой дверью слышалось его виноватое бормотанье.

Нина повернулась лицом к стене, натянула одеяло на голову и заплакала...

Ну что вы станете с нею делать – старуха развлекается! Давний какой-то английский фильм начинается прекрасной сценой, где умирающий остряк дрожащей рукой поджигает развернутую в руках сиделки газету. И умирает, хохоча... Последнее развлечение на смертном одре. Так вот, старуха развлекается.

Эта афера с опекуном... Нет-нет, она прекрасно понимает, что дело безнадежно, да ей результат не так уж и необходим. Ей что важно? Она занялась. Неважно чем. Она занята, а значит, жизнь продолжается. Это – раз. И если б только это! Тогда старухины штучки выглядели бы вполне невинно. Нет, ей подайте карусель штопором, чтоб вертелись вокруг ее идеи друзья, знакомые, незнакомые, Союз художников, коллегия адвокатов, райисполком, горсовет и все милицейские чины нашего районного отделения.

Кажется, Матвей уже возил ее на прием к секретарю Союза. Секретарь, конечно, поинтересовался, почему ходатайствуют об одном опекуне, а таскается с уважаемой Анной Борисовной совсем другой человек. Странная, дескать, форма опекуна.

Давайте, давайте. Крутитесь, таскайтесь, распечатывайте на машинке заявления во всевозможные учреждения.

Кстати, вот Нина хорохорилась, а против старухи слаба оказалась. Сейчас заявление для нее строчит и на машинке в четырех экземплярах отстукивает. Старуха ведь спрут, ее щупальца намертво в жертву впиваются. Против старухи все вы слабаки, братцы. Она всех вас вокруг пальца обернет и кукишем выставит.

Кампания по делу опекуна строго засекречена. Якобы засекречена. Во всяком случае, стоит войти в мастерскую, чтобы чайник вскипятить и пожевать чего-нибудь, – лица у старухи и ее свиты оборачиваются вокруг оси, как флюгер – хлоп! – лояльные полуулыбочки: «Здравствуй, Петя» – и бумажки какие-то со стола соскальзывают, шелестя, куда-то в рукава, что ли, – были, и нет их. Главное – все эти Севы, Саши, Нины и Матвеи презирают его всей душой, страстно и горячо. Можно представить, как вечерами они перезваниваются: «Ну вы подумайте, она совсем сошла с ума. Что она затеяла: он же ее оберет, этот Растиньяк, это ничтожество, оберет до нитки и вышвырнет на улицу!» – «А вы обратили вчера внимание – с какой скучающей физиономией он снисходит в мастерскую? Будто ничего о ее намерениях и не знает. А ведь знает, подлец!»

Да. Знаю. И чихал на вашу благотворительность. Поставьте ее под кровать, вашу благотворительность, вместо ночного горшка... Сева, надо полагать, особенно неистовствует.

Потомственный интеллигент, эстет Сева, Всеволод Алексеевич, миляга, обаяшка – по задаткам своим тип растленный. Точнее, мог бы им быть, но обстоятельства не позволили: могучие старинные корни – профессорская семья, дед – крупнейший русский эпидемиолог, прадед тоже кто-то там, не хухры-мухры; всяческие в фамильном древе народовольцы на ветвях и чуть ли не декабристы в обнимку с министрами царского двора. Благородное книжное детство, благоухающие крахмальные салфетки: старинное серебро и подлинники на стенах. (А это, детонька, – этюд выдающегося русского художника Ильи Ефимовича Репина. Твой дедушка очень с ним дружен был.)

Затем – образцовая юность, возвращенная концертами камерной и симфонической музыки, институт, аспирантура, прекрасная диссертация и – прекрасная и пресная, как хлорированная вода, супруга (рыба камбала) из известной семьи. Ну и так далее...

Все в высшей степени благообразно. Но задавленные пристойной жизнью пороки тлеют в глубине тихо разлагающейся душонки, будоражат стиснутое благородным воспитанием воображение и сообщают образу мыслей уважаемого Всеволода Алексеевича особенный, щекопливый уклон. Во всяком случае, те идеи, что зарождаются в его плешистой черепушке, могут привести в оторопь кого угодно.

Например, лет пять назад Сева шепотком при гостях позволил себе предположить, что с Петей... с Петиными сердечными делами... с Петиными наклонностями не совсем все обстоит нормальным образом. А то как же объяснить, что за все эти годы он ни разу не женился? Ни разу не привел в общество ни одну девушку? Может, девушки-то его не слишком и волнуют? А?..

До Пети этот гнусный шепоток дошел кружным путем – через слесаря Костю, жена которого, деятельная Роза, во время легкой этой салонной беседы возилась у плиты. Костя и донес до Пети интересное предположение. А что, Петюнень, подмигнул он, правда, что до бабы ты не охотник?

Пришлось провести с Всеволодом Алексеевичем сеанс воспитательной работы. Минут тридцать, затаившись на лестнице, как рысь, готовая к прыжку, Петя подстерегал, когда Сева выйдет от Анны Борисовны. Наконец дождался и в три скачка нагнал его в коридоре:

– Одну минуточку, Всеволод Алексеич. – Он предупредительно придержал второй рукав Севиного пальто, помогая тому одеться. – Мне необходимо посоветоваться по вопросу весьма деликатного свойства.

– Со... мной? – холодно удивился Сева. С Петей они не здоровались, бывало, месяцами.

– Именно... – торопливо и скорбно вставил Петя. – Как мужчина... с мужчиной... Дело в том, что какой-то мерзавец распускает обо мне очень несимпатичные слухи... – Петя переминался с ноги на ногу, кружился вокруг Всеволода Алексеевича с тихим вкрадчивым восторгом на губах.

– Позвольте... Какие слухи? – пробормотал Сева, чуя уже нехорошее, да не в словах Петиных, а вот в этих его ужимках, в этом зловещем блеске сумасшедших глаз... – Я... не... нет, не знаю, не слыхал...

– Как?! Вы не слыхали о моем тайном извращении? – изумился Петя задушевно. – Вас никто и никогда не предупреждал, что я – злобный педераст и вечерами подстерегаю здесь свои невинные жертвы?!

Даже в полутьме прихожей стало заметно, как поблекло, посерело лицо Всеволода Алексеевича. Он окоченел, он просто в ступор вошел от страха.

– Посоветуйте, голубчик, милочка, радость моя, посоветуйте, что делать, – продолжал Петя страстной скороговоркой, но вдруг осекся и изобразил на лице озарение мыслью: – Впрочем, я знаю, что делать для опровержения слухов: мне необходимо переспать с вашей супругой, правда? Хотя, видит Бог, это никак нельзя назвать мечтой моей жизни. А знаете что – к черту баб, прелесть моя! Ведь вы сами мне всегда безумно нравились... – И тут он протянул руку и жестко обнял Севу за жирную талию. Тот пискнул, что было очень странно при его солидной комплекции, затрепыхался, как неудачно прирезанная курица, и крикнул сдавленно:

– Прекратите!.. Вы... сумасшедший!

– Да! – Петя брезгливо ткнул пальцем в Севин круглый живот. – Да, я сумасшедший. Запомните, пожалуйста, эту версию. Она мне больше импонирует. – И пошел, насвистывая, к себе.

На Севу не оглянулся. На Севу действительно было начхать, как и на его трепню. Ранило, и жгуче больно ранило, другое – старуха, которая выслушивала всю эту мерзость с иронической ухмылкой, она ее только забавляла. Старуху вообще часто забавляли недоразумения, с вытекающими из них нелепыми ситуациями, и она никогда не спешила их рассеивать.

Смешно и скучно... Подкладку же вся затея с опекуном имеет довольно драненькую и загаженную. Вот как я забочусь о мальчике – называется все это: думаю о его судьбе, хлопочу о прописке; вот как я забочусь о мальчике, не получая в ответ ни грамма благодар-

ности. Вот какая я трогательно благородная. И все смотрите на меня. Всем видно, какая я благородная? А вам, с краю, да-да, вам, простите, лица не разберу, – вам тоже все видно?..

Старуха внушила себе и всем вокруг, что совершает бескорыстное благое дело ради Петиного благополучия, которое наступит после ее смерти. Своей будущей смертью пощеголять любит так же, как своим безобразным характером и сказочным носом.

Подсознательно же преследуется одна-един-ственная цель – унижить. Еще раз унижить его в глазах как можно большего числа людей. Затеяна игра, началась большая охота, жертва всегда под рукою. Будет потеха! Старуха развлекается, жизнь прекрасна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.